

Истоки

(Из романа «Угрюм-река»).

Уж ты, матушка Угрюм-река,
Государыня, мать, свирепая.

(Старинная песня).

1.

ИБРАГИМ-ОГЛЫ. ПЕРОЧИННЫЙ НОЖИЧЕК.

На спольи, где город упирался в перелесок, стоял покосившийся одноэтажный дом. На крыше вывеска: «Стой. Црулна. Стрыжом, брэим первы зорт».

Горец Ибрагим-Оглы из переселенцев, хозяин этой цырульни, целыми днями лежал на боку или где-нибудь шлялся, и только лишь вечером в его мастерскую заглядывал разный люд.

Ибрагим-Оглы, кроме искусства ловко стричь и брить, был известен пьющему люду городских окраин, как человек, у которого в любое время найдешь запас водки. Вечером у Ибрагима клуб: пропившиеся двадцатники—так звали здесь чиновников—мастеровщина-матушка, какое-нибудь забудыжное лицо духовного звания, старьевщики, карманники, цыгане, да мало ли какого народа находило отраду под гостеприимным кровом Ибрагим-Оглы. А за последнее время стали захаживать к нему кой-кто из учащихя. Отнюдь не дешевизна водки прельщала их, а любопытный облик хозяина, этого разбойника, каторжника. Пушкин, Лермонтов, Толстой—впечатления свежи, яркие, сказочные горцы бегут со страниц и манят юные мечты куда-то вдаль, в ущелья, под чинары. Ну, как тут не зайти к Ибрагиму-Оглы? Ведь это ж сам таинственный дьявол с Кавказских гор. В плечах широк, в талии тонок, и алый бешмет, как пламя. А глаза, а хохлатые черные брови: взглянет построже—убьет. Вот, чорт!

Но посмотрите на его улыбку, какой он добрый, этот Ибрагим. Улыбнется, тряхнет плечами, ударит ладонь в ладонь: алля-алля-гей!—да как бросится под музыку лезгинку танцевать. Вот вы тогда полюбуйтесь Ибрагимом...

Заглядывал сюда с товарищами и Прохор Громов.

Музыка давно кончила последний марш, трубы остыли, и турецкий ба-рабан пьет теперь в трактире сиводрал. Сад быстро стал пустеть. Дремучий, вековой, огромный: нередко в его трущобах даже среди бела дня бывали грабежи. Скорее по домам: мрачнел осенний, поздний вечер.

Прохор Громов, ученик гимназии, сдвинул на затылок фуражку и, на свистывая кек-уок, тоже направился к выходу.

Вдали послышался стчаянный многоголосый крик, словно граял на отлете табуи грачей. Прохор Громов остановился:

«Драка»,—и он припустился на голоса напрямиком, через клумбы цветов и мочежины.

— Бей!

Он треснул по голове бежавшего ему навстречу мальчика. Опытным глазом забяки он быстро окинул поле битвы: на площадке, где обычно играла музыка, шел горячий бой между «семинарами» и «гимназерами». К той и другой стороне приставали мещане, хулиганы, всякий сброд.

— Ура! ура!..

— Гони кутью в болото!

— Ребята!.. наших бьют!..

Прохор Громов выхватил перочинный нож и помчался за бегущими. В нем все играло диким озорством, захватывало дух. Рядом с ним неслись кулачники, где-то пересвистывались полицейские свистки, трещали трещетки караульных, даляли псы.

— Полиция!—и все врассыпную.—Лезь по деревьям!..

Но буйный нож Прохора, наметив жертву, уже не мог остановиться. Прохор набежал на парня, с звериной сладостной злобой полоснул его ножом. И сразу отрезвел.

— Полиция!..—с гамом мелькали возле него пролетающие тени.— Айда на-утек!

Прохор Громов вскочил на решетку и, разодрав об железо шинель, перепрыгнул.

— Ага! Есть! О, ножом, дьяволенок!—среб его в охалку полицейский, но он, как налим, выскользнул из ярых рук и—стемглав вдоль улиц.

— Жулик! Имай! Держи!—но Прохор юркнул в темный проулок, за-таился.

Успокоившись, он закурил. На правой руке кровь. Пот со лба струился ручейками к носу. Прохор отер платком лицо.

— А где ж картуз?—и сердце его сжалось. Новая его фуражка с четкой надписью на козырьке «Прохор Громов», очевидно, попала в руки полицейской. Прохор перестал дышать. Он уже слышит грозный окрик директора гимназии, видит раненого парня, полицию, тюрьму, каторгу. Боже мой! Что ж делать?..

— К Ибрагиму.

Да, к Ибрагиму-Оглы. Он посоветует, он спасет, выручит. Ибрагим все может. И Прохор, вздохнув, повеселел.

Он отворил дверь и задержался у порога. В комнате человек пять его товарищей, гимназистов. Ибрагим правил бритву и спорил с восьмиклассником Кольчугиным.

— Ну, Ибрагим, обрей, пожалуйста.

— Нэт!

— Ну, хоть первым номером...

— Ныкаким!..

— Я тебе хорошо заплачу.

— Ишак... нэ паньмаешь?.. Зачем красоту снимать?—он стал ласково ерошить его густые волнистые волосы,—видышь мой голова, совсэм плохой—арбуз...—и он провел ладонью по своему голому черепу, большому и угловатому, как сундук.—Иди другой црулна... Айда-айда! А-а!.. Прошка?!

Проход поманил Ибрагима, они вошли в соседнюю комнату и притворили дверь. Чуть не плача, Проход стал рассказывать. Он ходил взад-вперед, губы его прыгали, руки скручивали и раскручивали кончик ремня. У Ибрагима черные глаза загорались.

— Я за ним... Он от меня... Я выхватил нож...

— Маладэц!.. Далшэ!..

— Я его, вгоречах, ножом...—упавшим голосом сказал Проход.

— Цх! Зарэзал?...—радостно вскричал черкес.

— Нет, ранил...

— Дурак!

— Я его тихонько... перачинным ножичком, маленьким,—оправдывался Проход.

— Дурак! Кынжал надо... Вот, на!..—горец сорвал со стены в богатой опрае кинжал и подал Проходу.—Подарка!

— Да что ты, Ибрагим...—сквозь слезы проговорил Проход.—Меня исключат... Ты посоветуй... Как быть?...—Проход опустился на табурет и сгорбилсь...—Главное, фуражка... По фуражке узнают...

— Плевать! Товарища-кунака защищал, себя защищал. Рэзать нада! Трусить нэ нада... Джигит будэшь!..

На громкий его голос один за другим входили гимназисты.

— Ружье тьфу! Кынжал—самый друг, самый кунак!..—крутил горец сверкающим кинжалом.—Ночью Капказ едем свой сакля. Лес, луна, горы... вижу—бэлый чалвэк на дороге. Крычу—стоит, еще крычу—стоит, третий раз—стоит. Снымаим винтовка, стрэляим—стоит... Схватыл кынжал в зубы, палзем... подползаим... Размахнулэ—раз! Глядим—бабья рубахам на веревке. Цх!

Все захохотали, а Проход печально улыбнулся и вздохнул. Ибрагим сел на пол, сложил ноги калачиком, потом вдруг вскочил:

— Ну, не хнычь... Все справим... Идем! Кажы, гдэ?

Проход пошел за Ибрагимом.

— Стой!—остановился тот.—Дэнги нада, платить нада. Полиций бэгать. Гимназий бэгать... Дырехтур стрычь-брыть дарам... не бойся... Ибрагиска все может.

Он рылся в карманах, лазил в стол, в сундук, вытаскивал оттуда деньги и засовывал их за голенища своих чувяков.

— Айда!

II.

ГНЕЗДО. «СО ВСЕГО КОРЕНЮ ВЗЫЩЕТСЯ». ПРОКЛЯТЫЙ КЛАД.

Лето дряхлело, умирало. После жаров вдруг дыхнуло холодом. Завыл густой, осенний ветер. С севера тащились сизые, в седых лохмах, тучи. Печаль охватила зеленый мир. Тучи ползут и ползут, льют холодным дождем, грозят снегом. Потом упрутся в край неба, останутся над тайгой и с тоски, что не увидеть им полдневных стран, плачут, без конца, пока не изойдут слезами.

Займка Громовых, что крепость: вся обнесена сплошным бревенчатым частоколом. Верхушки бревен заострены и окованы, как копыя: лихому человеку не перемахнуть. Ворота грузные, в железных лапах. Вход в них порос травой, они, должно быть, редко отмыкались. Рядом с воротами—высокая калитка, чтобы можно было проехать всаднику. В стене прорублены дозорины. Два сторожа смену держат, все кругом видят. А что за высокой стеной—с воли не видать. Вот если залезть на вершину сосны, что стоит на краю поляны, да раздвинуть ветки, увидишь: в середке бревенчатого

четыреугольника красуется просторный, приземистый, новый, под железом, дом. Он в прошлом году срублен. А раньше жили вот в том, посеревшем от времени, флигеле, что прячется за домом. А еще раньше, когда дедушка Данило Громов на это место сел, он жил с женой в маленькой хибарке. Ее тоже берегут, не ломают: пусть внуки-правнуки ведают, посматривая на покосившуюся, об одном конце, черную избенку с кустом бузины на крыше, с чего начал дед и до каких хором своими руками достукался.

Откуда пришел сюда Данило Прохорыч почти семьдесят пять лет тому назад—никто не знал.

— Какое кому дело?.. Пришел, да и весь сказ... Из берлоги вылез,— говорил старик.

И верно. Сначала один, как медведь, корежил тайгу, потом сына Петра поднял. Мельницу-мутовку на речке сделали, пасеку завели, пушнину у звероловов скупали, копейку берегли.

И чрез тягостный черный труд, чрез плутни, живодерство, скупость постепенно перекочевывали из хибарки во флигель, из флигеля в просторный новый дом.

А теперь, весь сухой, в позеленевшей бороде, лысый, но с прежним орлиным взглядом, древний Данило лежал на кровати, под ситцевым голубым пологом.

Ночь была.

— Петька!—позвал он сына.—Петька! да встань ты, встань...—и закашлялся, и зашептал молитву.

В соседней комнате скрипнула кровать.

— Бегу, батюшка!—и в одном белье, босиком шагнул к Даниле чернобородый, лохматый Петр.

— Зажги лампадку.

Петр, что-то бормоча, тревожно зажег лампадку: час был неурочный.

— Подь сюда... Умираю...

У Петра сердце ударило в грудь, сладко замерло и часто забилося: наконец-то родитель в одночасье сделает сына богачом.

— Петя,—взял он его за руку.—Вот и конец... вот и...

Петр вздохнул и пристально поглядел в орлиные глаза старика.

— Ничего, батюшка. Может еще...

— Нет, сынок... Крышка...—Старик тяжело задышал:—Ох, дакое воды... Помочи голову.—Он взглянул на колыхавшийся огонек лампадки и перекрестился:—Прости, заступница... Вот, Петька, ты теперь один останешься. Ну, прости меня, душегуба... Разбойник я... Деньги... там... Сосну с развилиной знаешь у Зуева болота?.. Ну, отмерь на закат двадцать два шага, камнище найдешь... От камнища три печатных сажени влево: тут...

Петр затаил дыхание, глаза его жадно заблестели, золотой звяк взыграл в ушах.

— На добрые дела... На упокой души... А то—погибель мне будет: там не простится, с вас взыщется, с тебя, с Прошки, со всего кореню нашего.. Церковь сделай... Бедным... богаделенку построй какую..: Слышишь?

— Слышу, батюшка... Сполню...

— Перекрестись... Встань на колени... Клянись...

Петр дал клятву. Потом спросил:

— А сколько, батюшка... всего-то?

— Много, Петька... Ох, большой у меня камень на душе... Убил я... убил, брат, Петька... Душу загубил...

— Кого же ты?

— Ну, зачем... Ну... вот опосля скажу. Отходить когда буду... в тот свет... теперича еще, може, оклемаюсь. Буди Марью... Зови Прошку. Да-а... ведь он в науке... Зря!.. Не надо бы. Зови попа... Пусть Гараська верхом смахает в Медведево... Стой, стой!.. подожди-ка... Ну, ладно... Покличь Марью

Петр плохо понимал, что говорит отец. Пред его глазами стояла сосна, серел покрытый мохом вросший в землю камнище, блестели и сладко позванивали червонцы, а дальше... разливным морем гудела новая вольная жизнь—радость.

Петр наскоро чмокнул отца в холодный потный лоб, брезгливо отер губы и потрянул головой:

— Батюшка, благослови.

— Бог тебя благословит. Иди, покличь.

Петр расставил локти, благодарно взглянул на лучистый огонек у образов и радостно зашлепал босыми ногами по крашеному полу.

— Марья, батюшка зовет! Вставай!..—потрепал по плечу жену.—Ну, шевелись...

— Чего такое?—поднялась та, щурясь на зажженную свечу.—А ты куда это?

— А куда надо... за попом,—бросил Петр, вытаскивая из-под кровати болотные сапоги и суетливо обуваясь:

— Черти... Смазать не могли. Как дерево, твердые, не лезут... Дьяво-лы.

Петр стучал грузными сапогами, отыскивал пиджак и, закусив губы, вышел вон. Скорей... Проверить... Он отлично помнит этот камень, много раз отдыхал на нем во время охоты.

— Господи! А вдруг да кто-нибудь нашел.

Терзаясь неизвестностью: богат он или так себе, ни в тех ни в сех, он спустился с крыльца во двор и покликнул Шарика. Тот подкатился к нему серым комом, заюлил возле ног, и, обнюхав болотные сапоги, вопросительно взглянул на пустые руки: а где ружье?

— Лука, отопри-ка,—сказал Петр караульному,—с батюшкой чегой-то худо...

— А сам-то куда?

— Да тут, недалече,—смутился Петр и нахлобучил шляпу.—Слушай-ка, Лука. Ты шагай-ка, парень, на кухню. Может, от хозяйки наказ какой выйдет. За попом али что. Ежели за попом—Гараську пошли, пусть Каурку заседлает, а под попа—Сивку.

— Плох, говоришь, старик-от?

— Плох.

Белобрысый, маленький горбун Лука, жалеючи, почмокал губами, покрутил головой и, сдернув мокрую шапку, перекрестился.

Петр быстро шагал знакомой тропой, Шарик бежал впереди. Мелкий дождь настойчиво поливал тайгу. Утоптанная тропинка была скользка. Фонарь светил тускло, и Петр раза два наткнулся лицом на сучья.

Он спустился в глухую балку и перешел вброд шумливый поток. Путь сделался труднее, без тропы. Пробираясь сквозь чащу, царапая себе лицо и руки, Петр чутьем, как волк, отыскивал направление. Он шел через тьму напролом, потрескивая сухим хвостом. Мысль его усиленно работала, весь он был в зыбком угаре. Он то становился выше ростом, шире в плечах: тогда перед ним вставала новая, богатая, еще неизведанная жизнь на виду у всех, чтоб про него гул по земле катился, чтоб трубы трубили, колокола бухали. То вдруг мечты проваливались в яму: вновь делался он маленьким-маленьким,

его жизнь замыкалась навеки в бревенчатом частоколе, что опоясал колдовской чертой их таежную займку.

Петр приподнял фонарь и водил им кругом, соображая, куда идти.

— Ага! Зуево болото.—Он огладил Шарика и пошел напрямик.—Вот и сосна.

Он отыскал обомшелый, тот самый, камень и отсчитал три сажени влево. Висевший на суку фонарь бросал мутный свет под его ноги. Он разгреб пласт хвой с перегноем и стал копать.

Шарик посовал носом в пахучую раненую землю, посмотрел на хозяйина и тоже принялся скрести передними лапами, откидывая назад большие комья. Петр взял лом и прощупал яму во всех углах. Лом глубоко уходил в грунт. Пусто. Стал копать в другом месте. Пусто. Петра брало нетерпение. Выбившись из сил, он подошел к камню, сел и закурил трубку. Сердце его ныло, фонарь остался там на суку, а здесь, у камня, тьма. Петр посмотрел туда, и ему показалось, что фонарь покачивается, а ветра нет.

— Шарик!—крикнул он и посвистал.

Кто-то слегка ткнул его повыше пятки. Петр вскочил:

— Ты?

Шарик ластился к нему. Фонарь теперь висел недвижно, но железная лопата там, в яме, цокает о землю и скрипит. Петра затрясло:

— Черти роют...

В яме копошилось серое, седое.

«Заклятый клад»...

— Шарик! Узы! Узы!..

И Петр, как сумасшедший, алчно бросился к яме. «Надо говорить, надо кричать... А то—жуть».

Шершавым голосом твердил вслух, роя землю:

— Ай да дедушка Данило... Вот так это отец. Ничего, ладно... Душегуб... А? Хорошая наша порода. Шарик, как ты полагаешь? А? Дедушка-то, Данило-то? Знаешь, который костей-то тебе после обеда выносил?.. Чудно... А посмотреть—свяtitель—станови в иконостас... Копай! Чего лежишь.. Шарик!

Но пес, вытянув лапы, смиренно лежал и чужими бесовскими глазами смотрел хозяину в лицо.

— Ну! Ты,—озлился на собаку Петр.—Смотри веселей!

Кругом тьма, жуть. Петр все чаще озирается по сторонам. Кто-то окликает его, ухаает, посвистывает, кто-то в дерево ударил. Но Петр не допускает в душу страх. Поливал дождь и холодными струйками стекал со шляпы за ворот. Петр терял терпение. Лопата на что-то натыкалась, глухо звуча. Петр подносил фонарь и со злобой видел толстые, перевившиеся, как змеи, корни со свежими на них белыми ранами.

— Не здесь,—он бросил лопату...—Старый чорт... наврал.

Он вновь тщательно отмерял три сажени и стал рыть чуть поправее.

В тайных глазах собаки сверкнул огонь. «Батюшки, да ведь это не Шарик... Ведь это сатана»... По спине мороз.

— Аминь, аминь! Рассыпья!!—и с левого плеча наотмашь. Шарик отскочил. «Нет настоящий».

— Шарик, Шарик!.. Ты?

Но тот, поставив уши торчком, шагнул вперед и заворчал на тьму... Послышался чуть внятный крик:

— «А-а-аа...».

Собака оцетинилась, подняла нос и, втягивая сырой воздух, осторожно пошла верхним чутьем на смолкший голос.

— Господи Христе!..—встревожился Петр и окликнул Шарика, но тот, шурша хвоями, скрылся.

— «А-а-ааа»—вновь почудилось из тьмы, и где-то твякнул Шарик.

Петр насторожился, переступил ногами: в сапогах жмыхала вода.

— Запугать хочет!..—Он вытащил из-под рубахи наружу крест.—Ну-ка!.. С нами Бог!—поплевал на руки, расставил ноги и со всего маху, крикнув, долбнул ломом землю. Звякнул металл. Он, припрыгнув, ударил немного правее.

— С нами Бог!—Лом вновь стукнулся о металл и скользнул.

Забыв про холод, сбросив пиджак, в одной рубахе, напрягая сильные мускулы, Петр швырял землю, как мягкий пух.

— А ну! А ну!

Мрак серел. Занималось пасмурное утро.

Петр спустился в яму и, разгребая руками черную грязь, выворотил из земли большой котел.

— Ху-хуууу!..—взвыл он пьяной кровью и вытащил из котла кожаную суму. Он тряхнул, сума звякнула.

— Золото!..

Его руки плясали, лицо улыбалось. На него, виляя хвостом, смотрел Шарик.

— Шарик!.. Шаринька!.. Эва! Видал?!

Он схватил его в охапку и стал крутиться с ним возле ямы. Стиснутый пес крихтел, молот хвостом. А Петр притопывал, ухал, подсвистывал и хохотал.

— Папаша!..

Петр врос в землю и выпустил Шарика. Пред ним стоял всадник. Поодаль, в сереющей тьме, всхрапывала другая лошадь.

— Папашенька!.. Это я!..—сказал Прохор. Он соскочил с седла и несмело стал подходить к тяжело пыхтевшему, чуть попятившемуся от него отцу.

Вдруг отец резко нагнулся и выхватил из-за голенища нож.

— Убью!!—Как медведь на дыбах, он встал возле сумы, сверкал ножом, и тяжело, с присвистом, дышал.—Проходи, проходи!.. Не отдам!.. Эва!.. Крест!.. Рассыпь! Фу!!

— Да что ты, папаша!..—испугавшись, плаксиво крикнул сын.

— Прощка? Ты?!

— Я!.. Ночевали тут вот!.. Заблудились!.. Ты чего в грязи?.. Мокрый?..

— Так, Прощка!.. Ничего. Ну, айда домой!.. Дедушка Данило хворает!.. Плох. А ты пошто приехал?

— Исключили меня!.. уволили.

Дома они узнали, что их отец и дед, древний Данило, преставился в ночи.

III.

ПРИКАЗ ОТЦА. ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ.

Торговое село Медведево стояло при реке.

Петр Громов перебрался с семьей сюда. Он живо выстроил двухэтажный дом со светелкой и открыл лавку.

Прохору очень нравилась кипучая работа. Он разбивал рулеткой план дома, ездил с мужиками в лес, вел табеля рабочим и, несмотря на свои семнадцать лет, был правой рукой отца.

— Ну, Прошка, далеко пойдешь,—говорил он сыну.

— А как же, папаша, насчет школы-то...

— Ну, чего там... Дома выучишься... У меня другое в голове...

Он любовно осматривал Прохора, его тонкую, высокую фигуру, орлиный, из-под густых бровей, взгляд и думал: «весь в дедушку Данилу».

Прохор всегда в деле. Улица, катанье с гор, масленичные, веселые дни, посиденки с девками не тянули его. В лавке, в тайге с ружьем, во дворе при доме. Прохор всегда у дела.

Он все старался воду в баню провести при посредстве архимедова винта, как в книжке вычитал, да не сумел. Тогда стал от дровяного склада железную дорогу строить, чтоб можно было в дом дрова возить.

Он много читал, брал книги у священника, у писаря, и прочитанное крепко западало в его голову.

Однажды, перед весной, отец сказал ему за чаем:

— Прохор, вот что, брат... Возьми-ка ты человека да собирайся на Угрюм-реку... Слышал?

— Надо, папаша, карту...

— Какую еще карту?... Дай-ка сюда лист бумаги, я тебе срисую... Хотя сам сроду не бывал там, а от бывалых людей слыхивал.

Марья Кирилловна переводила от сына к мужу испуганный взгляд свой и вздыхала.

— Пофыркай!..—пригрозил ей Петр.—Раз решено, значит, баста—Он послунил карандаш и неловко провел по бумаге черту:—Вот это, скажем, дорога от нас в Дылдино, двести сорок верст... Отсюда свернешь на Фролку—верст триста с гаком. Тут река Большая Поток предвидится. Отсюда перемахнешь через волок на Угрюм-реку, в самую вершину.

Купец поставил крест, сказал:

— Это деревня подволочная на Угрюм-реке. Там построишь плот либо купишь большую лодку,—шитик называется,—сухарей насушишь... Да там тебе укажут мужики, что надо. А весной, по большой воде поплывешь вниз.

— Зачем, папаша?—спросил Прохор и взглянул на мать. Из ее глаз текли слезы.—Зачем же мне туда ехать?

— Ну, это не твое дело. Слушай.

И целый час объяснял Прохору, что он должен делать.

— Река большая... слышал я—три тыщи верст. Она впала в самую огромную речису, а та—прямо в окян. Тунгусы, якуты по ней. Там большие капиталы приобрести можно... Будут встречаться торговцы в деревнях, всех расспрашивай и все списывай в книжку. А язык за зубами, кто ты таков, по какому случаю... А просто проезжающий. Ну, вот, милячок, опасности тебе много будет... А может и погибнешь, не дай Боже... Это к тому, что остерегайся, ухо остро держи.

— Не пуцу... не пуцу!..—заверезжала мать и притянула к себе сына:—Прошенька ты мой, ангел ты мой!..

Петр резко постучал торцом карандаша в столешницу.

— Будя-а-а!..

Мать выпустила Прохора и, горько заплакав, ушла:

Прохор дрожал. Ему хотелось кинуться, утешить мать, но отец взял его за рукав и усадил возле.

— Ух!—выдохнул отец...—Не слушай баб, не обращай вниманья... Иди напролом, никого не бойся, человеком будешь.

— Папаша, а можно мне с собой одного знакомого захватить... Мы с ним вдвоем...

— Кто такой?..

Проخور, волнуясь, рассказал ему о горце. Мать у Ибрагима черкешенка, отец турок, а сам Ибрагим-Оглы называет себя черкесом.

— Верный, говоришь? Так, правильно. Этот народ—либо первый живорез, либо друг, лучше собаки... Валай!

Проخور повеселел и тут же написал Ибрагиму письмо: «Будешь служить у нас... Папаша положит хорошее жалованье».

Начались сборы. Мать чинила белье, сушила пшеничные сухари, готовила впрок пельмени. Скрепя сердце, она примирилась с отъездом сына. Петр старался внушить ей, что в коммерческом деле без риска нельзя.

— Вспомни-ка дедушку Данилу, родителя моего... Двадцать раз у смерти в зубах был, а, слава Богу, почитай, до ста лет дожил...

Марья Кирилловна успокоилась.

Еще дорога не рухнула, стояли последние морозы, приближался март. Вдруг среди ночи громко залились собаки.

«Ибрагим»,—подумал Проخور и сквозь двойные рамы услышал:

— Отворяй!.. Нэ пустишь, через стена перемахнем, всех собак зарэжим, тебя зарэжим!..

— Ибрагим!—радостно крикнул Проخور, сунул ноги в валенки и выскочил на двор в накинutom бешмете.

— Ну, Прошка, вот и мы...—обнял его горец.—Спасибо, Прошка. Моя все бросил, тайгам любим, слабодный жизнь любим... Ничего, Прошка, едэм... Живой будэшь...

Отцу и матери Ибрагим-Оглы очень понравился. Его разбойничий облик не испугал их: много в тайге всякого народу приходилось встречать.

Прошла неделя.

— Вот, Ибрагим,—сказал ему Петр,—доверяю тебе сына... Я про тебя в городе слышал... можешь ли быть в роде как телохранителем?

— Умру!—захлебнувшись чувством преданности, взвизгнул горец.—Ежели доверяешь, здохнэм, а нэ выдам... Крайность придет всех зарэжим, его спасем... Их! Давай руку, давай, хазяйн, руку. Ну! Будем кунаки...

Чай пили в кухне, попросту, как при дедушке Даниле,—хозяйева и работники вместе. Кухня просторная, светлая, стол широкий, придвинутый в передний угол, к лавкам, идущим вдоль стены. Тут же обычно чаевали и покупатели, и гости, что попроще.

Ярко топилась печь. Кухарка, краснощекая Варварушка, едва успевала подавать пышные оладьи. Масло лилось рекой. Вкусно любили поесть хозяйева, да и приказчики с рабочими не отставали.

А хозяйка, Марья Кирилловна, поощрительно покрикивала:

— Ребята, мачите в мед-то!.. С медом-то оладьи лучше.. Ибрагимушка, кушай. Варварушка, садись...

Ибрагим пил чай до шестого пота. Он всегда угрюм и молчалив. Но сегодня его язык развязало полное доверие к нему хозяина.

Ибрагим, обтирая рукавом синего бешмета свой потный череп, говорил:

— Савсэм зря... каторгу гнали...

— За что?—враз спросила вся застелица.

Ибрагим провел по усам рукой, икнул и начал:

— Савсэм зря... Сидим свой сакля, пьем чай. Прибежал один джигит: «Ибрагим, вставай; твоя брат зарэзан!» Сидым, пьем. Еще джигит прибежал: «Вставай, другой брат фэзан!» Сидим, пьем. Третий прибежал: «Бросай скорей чай, твоя сестра зарэзан!» Тогда моя вскочил,—он сорвался с места и кинулся на середину кухни,—кынжал в зубы, из сакля вон, сам всех кончал,

семерым башкам рубил! Вот так!—черкес выхватил кинжал и сек им воздух, скрипя зубами.—Вот! Цх!

Все, разинув рот, уставились в дико искажившееся лицо горца.

— Цх-цх!.. Ы-х, проклятый!..—Ибрагим цокнул кинжалом в ножны и выбежал на улицу. Прохор бросился к окну.

— Снегом морду трет... К башке снег прикладывает... В рот взял...— пояснял Прохор. Налегая на него и тяжело дыша, все прилипли к окну, потом врассыпную по местам.

— Уф!..—вошел весь от снега мокрый Ибрагим...—Сэрдце загорелся... Нэ надо вспоминать: Пфе!..—он брезгливо сморщился, сел и придвинул к побелевшей хозяйке свой стакан.

Вскоре Прохор с телохранителем отправились в безвестный дальний путь.

IV.

ДЕНЬ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ. ТРОЙКА.

Петр Громов после смерти родителя сразу зажил широко.

— Все время на цепи сидел, как шавка... Раскачаться надо, мощной тряхнуть...

И в день Марии Египетской именины своей жены справил на славу. Поздравил ее после обедни и не упустил сказать:

— Ты все-таки не подумай, что тебя ради будет пир горой... А просто так, из амбиции...

Гости толклись весь день. Не успев как следует проспать, вечером вновь явились—полон дом.

Марья Кирилловна хлопотала на кухне, гостей чествовал хозяин.

Зала—довольно просторная комната в пестрых обоях, потолок расписан петухами и цветочками, а в середине—роза вельзевула, в разинутый рот ввинчен крюк, поддерживавший лампу со стеклянными висюльками. В простенке—большие круглые часы с густым боем, на столе—бронзовые часы под стеклянным колпаком, выменянные у архиерейского ключаря за две лучших лисьих шкурки. Премия к «Ниве»—«Король жених», два зеркала в золотом багете.

Посреди залы—огромный круглый стол, к нему придвинут поменьше—четырёхугольный, специально для «винной батареи», как выражался господин пристав, почетнейший гость, из штрафных офицеров, грудь колесом, навачена, усы большие.

— Ну, вот, гуляйте-ка к столу, гуляйте!—посмеиваясь и подталкивая гостей, распоряжался хозяин в синей, толстого сукна поддевке.—Отец Ипат, лафитцу! Кисленького. Получайте...

— Мне попроще,—басит священник и, елозя рукавом рясы по маринованным рыжикам, тянется к графину.

— А ты сначала виноградного, а потом и всероссийского проствейна,—шутит хозяин,—а то ершахвати, водки да лафитцу.

— Поди ты к монаху в пазуху,—басит священник.—Чего ради? А впрочем...—он смешал в чайном стакане водку с коньяком:—Ну, дай бог!—и, не моргнув глазом, выпил:—Зело борзо!

Старшина с брюшком, борода темно-рыжая, лопатой, хихикнул и сказал:

— До чего вы крепки, отец Ипат, бог вас храни... Даже удивительно.

— А что?

— Я бы, простите бога ради, не мог. Я бы тут и окочился.

— Привычка... А потом—натура. У меня папаша от запоя помре. Чуешь?

— Аяя... Царство им небесное,—перекрестился старшина, взглянув на лампадку пред кивотом, и хлопнул рюмку перцовки:

— С именинницей, Петр Данилыч!

— Кушайте во славу... Господин пристав! Чур, не отставать...

— Что вы!.. Я уж третью...

— Какой там, к шути, счет... Иван Кондратьич, а ты чего?... А еще писарем считаешься.

— Пожалуйста, не сомневайтесь... Мы свое дело туго знаем,—ответил писарь, высокий, чахоточный, с маленькой бородкой, шея у него—в аршин.

Учительница, угреватая девушка из города, сидела у стены и рассматривала «Ниву».

— Надежда Яковлевна! Ради бога. Гуляйте, гуляйте к столу! Будьте попроче с нами, мужиками... Сладенького рюмочку... Ну, хоть пригубьте... Закусите... Сижка... Ах, какой сижок... Пожалте!..

Было несколько зажиточных крестьян с женами. Все жены с большими животами, «в тягостях». Крестьяне сначала конфузились станového, щелкали кедровые орехи и семечки, потом, когда пристав пропустил десятую и, чуть обалдев, превратился в веселого теленка, крестьяне стали поразвязней, «дергали» рюмку за рюмкой, от них не отставали и беременные жены.

Самая замечательная из всех гостей, конечно, Анфиса Петровна Козырева, молодая вдова, красавица, когда-то служившая у покойного старца Данилы в горничных девчонках, а впоследствии вышедшая за ротного вахмистра лейб-гусарского его величества полка Антипа Козырева, внезапно умершего от неизвестной причины на вторую неделю брака.

Бравый пристав, не взирая на свое семейное положение, довольно откровенно пялил сладкие глаза на ее высокую грудь, чуть-чуть открытую.

Она же,—ничего греха таить,—слегка заирывала с самим хозяином. Утощал хозяин всякими закусками: край богатый, сытный, и денег у купца невпоровот. Нельмовые пупы жирнущие, вяленое, отжатое в сливках мясо, оленьи языки, сохатинные разварные губы, а потом всякие кандибоберы заморские и русские, всякие вина—английских, американских, японских погребов.

Гости осмелели, прожорливо накинлись на яства, говорить тут некогда, громко, вкусно чавкали, наскоро глотали, вновь тыкали вилками в самые жирные куски, и некоторых от обеда уже бросило в необоримый сон.

Но это только присказка. И лишь пробили стенные десять, а под колпаком—тринадцать, вплыла в комнату сама именинница, кротко улыбаясь бесхитростным лицом и всей своей простой, тихой, в коричневом платье, фигурой.

— Ну, дорогие гостеньки, пожалуйста поужинать...—радушно сказала она.

Все вдруг смолкло: остановились вилки, перестали чавкать рты.

— Поужи-и-нать?!—хлопнул себя по крутым бедрам отец Ипат, зашвыстал, присел, потешно схватившись за бороду.—Да ты, мать, в уме ли?—и захохотал.

Пристав закатился мягким, благопристойным смехом и, щелкнув шпорами, поцеловал руку именинницы.

— Поцадите!.. Что вы-с... Еле дышим...

— Без пирожка нельзя... Как это можно,—говорила именинница,—Анфисушка, отец Ипат, пожалуйста, пожалуйста в ту комнату. Гуляйте...

Всех охватило игривое, но и подавленное настроение: животы набиты туго, до отказа,—отродясь такого не было, чтоб обед, а после обеда—этакая сытная закуска, а после закуски—ужин...

Крестьяне стояли, выпучив глаза, и одергивали рубахи, их жены икали и посмеивались, прикрывая рот рукой.

Однако, повинувшись необычному гостеприимству, толпой повалили в столовую. Отец Ипат дорогой корил хозяина:

— А почему бы не предупредить... Я переложил даже... Эх, Петр Данилыч... А впрочем... Могий вместити да вместит... С чем пиро-то? С осетром, небось? Фю-фю... Лю-ю-блю пирог!

За столом шумно, весело. Поначалу как-будто гости призадумались, налимяю уху кушали с осторожностью, пытая натуру: слава богу, в животах полное благополучие, для именинного пирога места хватит. А вот некоторые в расчетах зело ошиблись и после пятого блюда, а именно—гуся с кашей, отец Ипат, за ним староста и с превеликим смущением сам господин пристав куда-то поспешно скрылись, якобы за платком в шинели иль за папиросами, но вскоре пожаловали вновь, красные, утирая заплаканные глаза и приводя в порядок бороды.

— Анфиса Петровна! Желая выпить... только с тобой. Чуешь?—звонко, возбужденно говорил хозяин и тянулся чокнуться с сидевшей напротив него красавицей-вдовой.

— Ах, чтой-то, право,—жеманилась Анфиса, надменно, со злой усмешкой поглядывая на именинницу.

— Ну, не ломайся, не ломайся... Эх, ты, малина!.. Ведь я тебя еще девчонкой вот этаккой, голопятенкой знал...

— А где-то теперича Прошенька наш?..—вдохнула Марья Кирилловна, усмотрев, как моргает нахальная вдова купцу, а тот...

— Прохор теперь большо-о-й,—сказал отец Ипат, аппетитно, с новым усердием обгладывая утиную ножку.—Надо бога благодарить, мать... Вот чего...

— Да ведь край-то какой... А он—мальчишка, почитай.

— Смелым бог владеет, мать... Поминай в молитвах, да и все...

— Вы помяните у престола, батюшка...

— Помяну, мать, помяну... Ну-ка, клади, чего там у тебя? Поросенок что ль? Смерть люблю поросятину... Зело борзо!..

— А ну, под поросенка!—налил пристав коньяку.—Хе-хе-хе!.. Ваше здоровье, дражайшая!—крикнул он, и так искусно вильнул глазами, что на его приветствие откликнулись сразу две женщины:

— Кушайте, кушайте!—Анфиса и Марья Кирилловна.

— А поросенок этот, простите бога ради, доморощенный?—поинтересовался старшина, которого начало изрядно пучить,—отличный поросенок... Видать, что свой... Вот у меня, в третьем годе...

— Анфиса!.. Анфиса Петровна!.. настоящая ты пава...

— Кто? Кто такой?

— Прошенька-то, ведь, у меня единственный...

— Ах, хорош, хорош паренек, простите великодушно.

— Петрован!.. Слышь-ка... Данилыч... Эй! Хозяин!

— Погодь! Дай ему с кралей-то,—развязали языки крестьяне.

— Эх, на тройках бы... Анфиса! А?

— На тройках?.. Зело борзо!..—вскрикнул веселый отец Ипат...—Мать, чего там у тебя еще?..

Притащили гору котлет из рябчиков.

— Мимо... не желаю!..—закричал белобородый румяный старик.—Ух, до чего!.. Аж мутит.

— Нет, мать... Ты этак нас окормишь.

— Кушайте, дорогие гости, кушайте.

— Ешь, братцы, гуляй!.. Царство небесное родителю моему... Капиталишко оставил подходящий...

— А ты на церковь жертвуй! Духовным отцам своим.

— На-ка, выкуси! Ххха-ха... Мы еще сами поживем... Анфиса, верно?

— Наше дело сторона,—передернула та наливными, круглыми плечами.

— А вот киселька отведайте!.. С молочком, с ватрушечками. Получайте.

— А подь ты с киселем-то... Ну, кто едет?... Эй, Гараська! Крикни кучеру... Тройку!..

— Постыдись!—кротко сказала жена, сдерживая раздражение.

— К чорту кисели, к чорту!..

— Нет, Петр Данилыч... Погоди, постой... До киселька я охоч...—и священник, икая, наложил полную тарелку.

— Господа, тост!..—звякнул пристав шпорами и, браво крутя ус, покосился на ясное загоревшееся лицо Анфисы.—Уж если вы, Петр Данилыч, решились широко жить, давайте по-благородному. Тост!

— К чорту тост! К чорту по-благородному!—махал руками, тряс кудлатой бородой хозяин:—тройку... Анфисушка, уважь!..

— Постыдись, ты, Петруша... Людей-то постыдись...

— Людей?.. Ха-ха...—и, вынув пухлый бумажник, хлопнул им в ладонь.—Во!.. Тут те весь закон...

После ужина затеяли плясы. Но у плясунов пьяные ноги плели бог знает что, и от обжорства всех мутило. Отец Ипат, выставив живот, тяжело пыхтел в углу, вдавившись меж ручек кресла.

— Окормила ты нас, мать, зело борзо. Ведь этакой прорвой пять тысяч народу насытить можно...

— Едем!—появился Петр Данилыч в оленьей дохе и пыжиковой с длинными наушниками шапке.—Анфиса! Батя!..

И в тесной прихожей, где столпившиеся гости тыкались пьяными головами в чужие животы, в зады, Петр Данилыч громко, чтоб все слышали, говорил оправлявшей пуховую шаль вдове:

— Хоть я, может, и не люблю тебя, Анфиса... при всех заявляю и при тебе равным манером, отец Ипат... Что мне ты, Анфиска? Тыфу!.. Из-под дедушки Данилы горшки носила. Ну, допустим, рожа у тебя... это верно, что и все такое, скажем, в аккумуляте... Однако, едем кататься вместе. На зло бабе своей... Реви, фефела, реви!.. Едем, Анфиска!!!

Под звездным ядреным небом все почувствовали себя бодрее. Отец Ипат прикладывал к вискам снег и отдувался.

Тройка вороных смирно ждала.

— Марковой, слезовой!—шутливо проблеял батя кучеру Марку, копной сидевшему на козлах в вывороченной вверх мехом яге и собачьих мохнатках.

— Слезовой, Марковой!

— А ты сам, батя, что ли?.. Мотри, кувырнешь хозяина-то,—покарабалась с козел, бухнула вниз, в сугроб копна.

— Ну, скоро вы?—горел нетерпением купец.

— Живчиком!.. Марковой, ну-ка засупонь меня... Не туго!.. пошто туго-то?!—хрипел отец Ипат.—Аж глаза на лоб... Уф!.. Ну, и нажрался...—Пе-

ретенутый кушаком по большому животу, он взгромоздился на козлы, забрал в горсть возжи и, взмахнув кнутом, залихватски свистнул:

— Ну-у вы!.. Божова мошкара... фють!!

Гладкие кони закусили удила, помчались. На первой же версте, на повороте, сани хватились о пень, седоки врезались торчмя в глубокий сугроб, а тройка, переехав священника санями, скрылась.

— Править бы тебе, кутья прокислая, дохлой собакой, а не лошадьми!—выпастывая из снега хохотавшую Анфису, сердился Петр Данилыч.

— Но, но... Ты полегче...—подбирая меховую скуфью с рукавицами, отрызнулся отец Ипат.—И не на таких тройках ездживали.

Вся сельская знать, бывшая на именинах, мучилась животами суток трое. Отец Ипат благополучно отпился огуречным рассолом, пристав перепробовал все средства из походной аптечки Келлера, староста выгонял излишки баннным паром, редькой.

А сам хозяин неделю ходил с завязанной шеей и не мог поворотить головы.

— Ямщикок,—чортов угодничек,—брюзжал он на попа.

V.

РАБ БОЖИЙ ПАВЕЛ. КРЫЛАТАЯ ЯРМАРКА.

На реку Большой Поток наши путники прибыли ранней весной. Могу-чая река даже в межень достигала здесь трехверстной ширины, а теперь разлилась на необозримые пространства. Острова были покрыты водой, и только щетки затопленного леса обозначали их границы.

Кое-где еще плыли одинокие льдины, иной раз такие огромные, что, казалось, на каждой из них смело могли бы разместиться деревни три-четыре с пашнями и лугами. На матерых берегах лежали высокие торосы выброшенного льда, отливавшего на солнце цветами радуги.

Картина была привольна, дика, величественна. Скользящая масса воды замыкалась, с одной стороны, скалистым, поросшим густолесьем, берегом, с другой—сливалась с синей далью горизонта. Вечерами ходили вдали туманы, а утренней зарей тянулись седые низкие облака. Когда вставало солнце, всегда зачинался легкий ветерок, и рябь реки загоралась. Ни деревень, ни сел. Впрочем, вдали виднелась церковь. Это село Почуйское, откуда поедут в ведомый край Прохор с Ибрагимом-Оглы.

Прохор сделал визит почуйскому священнику. Тот сидел в кухне, пил водку и закусывал солеными груздями.

— А ты не осуждай... Мало ли чего...—встретил он гостя.—Мы здесь все пьем понемножку. Скука, брат. Да и для пищеваренья хорошо. И пищу мы принимаем с утра до ночи: сторона наша северная, сам видишь. А ты кто?

Прохор назвал себя.

— А-а... Так-так... То-есть, тунгусов грабить надумали с отцом? Дело Пьешь? Нет? А будешь? По роже вижу, что будешь... Примечательная рожа у тебя, молодец... Орленок!.. И нос, как у орла, и глаза...—батушка выпил, пожевал грибок.—Прок из тебя большой будет... Ты не Прохор, а Прок... Такая тебя и поминать у престола буду, ежели ты полсотенки пожертвешь...

— Эх, господи,—кто-то вздохнул в темном углу.—Прок, что бараний рог, оборот сделает, да барану в глаз.

Прохор оглянулся. У печки—конопатый мужик лет сорока пяти, плечистый, лысый, вяжет чулки.

— Это Павел,—пояснил батюшка,—слепорожденный. Прорицает иногда. А что, раб божий Павел, разве чуешь?

— Чует сердце. Начало хорошее, середка кипучая, а кончик—ооей!..—слепец прекрестился и вздохнул.

— А ты выдиш конца, слепой дурак?!—крикнул Ибрагим.—Шарлатан, борода волочить надо за такой слова. Чего ребенка мутишь?

— Эх, господи... Татарин что ли это?—поднял незрячие глаза раб божий.

Батюшка усмехнулся, шепнул Прохору:

— Прохиндей, не верь... Дурачка ломает,—и громко:—А вот скоро пожалуют сюда с пловучей ярмаркой купцы.

— С пловучей?—переспросил Прохор.—Интересно.

Через два дня, на закате солнца, Прохор встречал эту ярмарку. Вдали забелели оснащенные парусами баржи. Течение и попутный ветер быстро несли их к селу. Белыми лебедями, выставив выпуклые груди парусов, они плыли друг за другом.

— Сорок штук... Ибрагим, красиво?—залюбовался Прохор.

Вскоре ярмарка открылась: выкинули флаги, распахнули двери пловучих магазинов. Зачалось торжище.

Все село высыпало на берег, выезжали из тайги с огромными караванами оленей якуты и тунгусы, по вольному простору реки со всех сторон скользили лодки: надо торопиться окрестным селам и улусам: через три дня ярмарка двинется дальше, за сотни верст.

С ранней весны до поздней осени плывет она на дальний север, заезжает в каждое богатое село и, наконец, останавливается в Якутске. Там все распродается, баржи бросаются на произвол судьбы, и обогатившиеся торговцы, вместе с отлетающими в теплый край птицами, возвращаются домой.

Вечером Прохор Громов обошел всю пловучую ярмарку и остановился у самого нарядного магазина. От берега, борт к борту, счалены три баржи. На каждой—дощатые, в виде дачных домов, надстройки. Разноцветные по карнизу фонари и вывеска: «*Торговый дом Груздев с сыновьями*».

Прохор вошел в первую баржу-магазин: все полки завалены мануфактурой, сияли четыре лампы-молнии, покупатели жмурились от ослепительного света, желтый шелк и ситец польхали от ловких взмахов молотков-приказчиков. Тунгусы стояли как бы в оцепенении, не зная, что купить, только причмокивали безусыми губами. Пахло потом, керосиновой копотью и терпким каленым запахом от кубовых, кумачных тканей.

Хозяин, глава дома, Иннокентий Филатыч Груздев—седой, круглобродый, круглолицый старик—очки на лоб, бархатный картуз на затылок—едва успевал получать деньги: звонким ручейком струилось золото, серебряной рекой текли круглые рубли, осенним листопадом шуршали бумажки. Шум, говор, крик.

— Уважь, чего ты!.. Сбрось хоть копейку.

— Дешевле дешевого... Резать, нет?

— Гвоздья бы мне... Есть, гвоздь?

— Проходи в крайний...

— А крендели, где у вас тут?

Прохор стоял у стены и улыбался. Ему нравится весь этот шумливый торг: вот бы встать за прилавок да поиграть аршинчиком.

— Раздайсь! Эй, ты, деревня!—вдруг гаркнул вошедший оборванец с подбитым глазом.—Прочь, орда! Приискатель прет! Здорово, купцы!!—он хлопнул тряпичной шапкой о прилавок, изрядно испугав дородную, покупавшую бархат, попадаю.

— Почем?—выхватил приискатель из рук матушки кусок бархату.

— Семь с полтиной... Проходи, не безобразь,—сухо сказал приказчик.

— Дрянь! Дай высчий сорт... Рублев на двадцать,—прохрипел оборванец.—Да поскорейча! Знаешь, кто я таков? Я—Иван Пятаков,—куплю и выкуплю. У меня вот здесь,—он хлопнул по карману,—два фунта золотой крупы, а тут вот самородок поболее твоей нюхалки. Чуешь?

«Сам» мигнул другому молодцу. Тот весело брякнул на прилавок непочатый кусок бархату:

— Пожалте! Выше нет. Специально для графьев.

— Угу, хорош,—зажав ноздрю, сморкнулся приискатель.—А лучше нет? Ворс слаб... ну, ладно. Скольки, ежели на пару онуч?

— На пару онуч?—захлопал глазами приказчик.—Тоись, портянок?..

— Аршина по два!..—крикнул «сам» и благодушно засопел.

— Это уж ты по два носи! Дай по четыре, либо, для ровного счета, по пяти.

Когда все было сделано, он швырнул броском две сотенных бумажки, сел на пол:

— Уйди, орда!—и стал наматывать бархат на свои грязнейшие прелые лапы, напялил чирки-бахилы, притопнул:

— Прочь, деревня! Иван Пятаков жалаит в кабак патишествовать... Кто вина жрать хочет, все за мной!... Гуляй, наша...

И, задрав вверх козью бороду, пошел на берег. Длинные полосы бархату, вылезая из бахил, ползли вслед мягкими волнами.

Удивленные примолкшие покупатели враз все заговорили, засмеялись.

— Ну, и кобылка востропята!

— Вот какие народы из тайги выползают. Прямо тысячники...—сказал «сам» мягким масляным баском.—А к утру до креста все спустит... Смее-ешной народ...

До самой ночи гудела ярмарка. Но купец Груздев затворил магазин рано:

— Почин, слава те Христу, добер. Надобно и отдохнуть. Ну-ка, чайку нам да закусочки... с гостеньком-то,—скомандовал он и взял Прохора за руку.—Пойдем, молодчик дорогой, ко мне в берлогу... Знакомы будем... Так, стало-быть, по коммерческой части? Резонт. Полный резонт, говорю. Потому, купцу везде лафа. И кушает купец всегда пироги с начинкой да со слобной корочкой. Ну, и богу тоже от него полный почет и уваженье.

Из мануфактурного отдела они через коломянковые расшитые кумачом занавески прошли во вторую баржу: «бакалею и галантерею».

Купец отобрал на закуску несколько коробок консервов:

— Я сам-то не люблю в жестянках, для тебя это. А я больше уважаю живность. Купишь осетра этак пудика на 2, на 3 да вспорешь, ан там икры фунтиков поболее десятка, подсолишь да с лучком... Да ежели под коньячок, ну-у, чорт ты дери!—захлебнулся купец и сплюнул. Сладко сглотнули и приказчики.

— Эх, Прохор Петрович... Хорошо, мол, жить, на белом свете. Вот я—старик, а тыщу лет бы прожил. Вот те Христос. Нравится мне все это: работа, труд, а когда можно—гулянье. Ух, ты-но!

— Мы еще с вами встретимся... Вместе еще поработаем.

— О-о-о... А кой тебе годик, молодец хороший?

— Восемнадцатый.

— О-о-о!.. Я думал—года двадцать два. Видный парень, ничего. А капиталы у тятки есть?

— Тятка не при чем. Я сам буду миллионщиком!—и глаза Прохора заиграли задором.

Купец засмеялся ласково, живые черные глазки его потонули в седых бровях и розовых щеках, он хлопнул Прохора по плечу, сказал:

— Пойдем, парень, хлебнем чайку. Поди, девчонки-то заглядываются на тебя? Ничего, ничего... Хе-хе...

До полночи вразумлял его Иннокентий Филатыч, как надо плыть неведомой рекой, что надо высматривать, с кем сводить знакомство. Прохор слушал внимательно и кое-что заносил для крепости в книжку. Сидели они в небольшой комнате об одно оконце. Тут была и походная кровать с заячьим одеялом, и три, с лампадкой, образа, возле которых висела гитара.

Старик курил папиросы 3 сорт «Трезвон», прикладывался к коньячку, крестился на иконы, лез целоваться к Прохору и, под конец, всплакнул:

— Ну, и молодчага ж ты, сукин сын, Прошка... Вот тебе Христос. Женю... Девка есть у меня на примете. Сватом буду. Запиши: город Крайск. Яков Петрович Куприянов, именитый купец, медаль имеет. Ну, медаль—миндаль, нам тьфу! А есть у него дочка, Ниночка... Понял? Так и пиши, едрит твою в кочерыжки...

Весело возвращался Прохор домой. Вдоль берега костры горели. У костров копошились, варили оленину, лежали, пели песни охмелевшие тунгусы в ярких цветных своих, шитых бисером, костюмах, меховых чикильманах, черные, волосатые, с заплетенными косичками. Пылало пламя, огнились красные повязки на черных головах, звучал гортанный говор.

Небо было синее, звездное. Месяц заключился в круг. Большой Поток шумел, искрились под лунным светом проплывавшие остатки льдов.

Через три дня ярмарка двинулась на понизово. Первыми снялись и всплеснули на утреннем солнце потесями-геслами баржи Груздева.

— Только бы на стрежь выбиться!—весело покрикивал старик,—а там подхватит.

Дул сильный встречный ветер, он мешал сплаву: баржи, преодолевая силу ветра, едва двигались на понизово. Но человеческий опыт знал секрет борьбы. С каждой стороны в носовой части баржи принялись спускать в волны водяные паруса.

Прохор, не утерпевший проводить ярмарку до первого изгиба реки, с жаром, засучив рукава, работал. Ему в диковинку были и эти водяные паруса, и уносившиеся в вольную даль расписные пловучие строенья.

— Нажми, нажми, молодчики! Приударь! Гоп-ля!

Рабочие, колесом выпятив грудь и откинув зады, пружинно били по воде длинными гребями.

— Держи нос на стрежень! Сваливай, свали-вай!—звонко несло над широкой водной гладью.

— Ха-ха! Смешно,—посмеивался Прохор, помогая рабочим.—В воде, а паруса... Как же они действуют?

На палубе лежала двухсаженная из дерева рама, затянутая брезентом. Ее спустили в воду, поставили стоймя, одно ребро укрепили в притык к борту, другое расчалили веревками к носу и корме. С другого борта, как-раз против

этой рамы, поставили вторую. Баржа стала походить на сказочную рыбу с торчащими под прямым углом к туловищу плавниками.

— Очень даже просто...— Та-аперича пойдет,—пояснил бородач-рабочий и засопел.

Проход догадался сам: встречный ветер норовил остановить баржу, а попутное течение с силой било в водяные паруса и, противодействуя ветру, перло баржу по волнам. Барже любо-весело: звенит-хохочет бубенцами, что подвешаны к высоким мачтовым флюгеркам, увенчанным изображением св. Николая. Поскрипывают гребни, гудят канаты воздушных парусов, друг за другом несутся баржи в холодный край.

Бодрей плывите, крылатые гости! И ты, Никола, строгий старик Христов, блюди путь легкий, вели солнцу пуще согревать обмороженную землю: много ль радостных минут у человека, жизнь его не длинней, чем всплеск волны...

Разгульный ветер встречу, встречу, а струи в паруса—несутся гости.

— Хорошо, чорт, забирай!—встрянул плечами Проход, его взгляд окидывал с любовью даль.

— У-у-у... благодать!.. Гляди, зыбь-то от солнышка каким серебром пошла. Ну, братцы, подходи, подходи... С отвалом!—кричал хозяин и тряс соблазнительно блестящей четвертью вина.

Пили, крякали, утирали бороды, закусывали собственными языками, вновь подставляли стакашек:

— Ну, Иннокентий Филатыч, мне пора уж,—сказал Проход.

Старик поцеловал его в губы.

— Плыви со Христом. А про Ниночку попомни. Эй, лодку!

И когда Проход встал на твердый берег, с баржи Груздева загрохотали выстрелы.

— До свиданья-а-а!.. Счастливо-о-о!!—надсаживался Проход и сам стал палить из револьвера в воздух.

На барже продолжали бухать, прощальные гулы катились по реке.

Проход быстро пришел в село. У догоревших костров валялись пьяные обобранные купцами инородцы, собаки жрали из котлов хозяйский остывший корм, какая-то тунгуска, почти голая, в разодранной сверху донизу одежде, обхватив руками сроду нечесанную голову, выла в голос.

А в стороне, у камня, раскинув ноги и крепко зажав в руке бутылку водки, валялся вверх бородой раб божий Павел и храпел. На его груди спал жирнуший поповский кот, уткнув морду в недовязанный чулок.

Проход постоял над пьяным прорицателем, посмеялся, но в юном сердце шевельнулся страх: а ну, как он колдун? Проход сделался серьезен, щелкнул в лоб кота и положил на храпевшую грудь слепого гривенник:

— На, раб божий, Павел, прими.

VI.

ПУТЬ НАЧАТ. ГРОМ И МОЛНИЯ.

— Я простоквашу, Танечка, люблю. Принеси нам с Ибрагимом кринку,—сказал поутру Проход хозяйской востроглазой дочери.

— Чисас, чисас,—прошебетала девушка, провела под носом указательным пальцем и медлила уходить—загляделась на Прохода.

— Адин нога здесь, другой там... Марш!!—крикнул Ибрагим в шутку, но девица опрометью в дверь.

— Цх! Трусим?.. Ничего. Ну, вставай, Прошка, пора. Сухарь дорогу делать будем, шитик конопатить будем. Через неделю плыть: вода уйдет.

Прохору лень подыматься: укрытый буркой, он лежал на чистом крашеном полу и рассматривал комнату зажиточного мужика-таежника. Дверь, расписанная немудрой кистью прохожего бродяги, вся в зайчиках утреннего солнца. Семь ружей на стене: малопулька, турка, медвежье, централка, три кремневых самодельных, в углу рогатина-пальма, вдоль стен—кованые железом сундуки, покрытые тунгусскими ковриками из оленьих шкур—кумаланами. На подоконниках груди утиных носов—игрушки ребятишек. Образа, четки, курильница для ладона. В щели торчит большой, с оческами волос, медный гребень, под ним—отрывной календарь; в нем остались только числа, а нижние края листков со святыми пошли на «козьи ножки», на цыгарки.

Открылась дверь, сверкнула остроглазая улыбка.

— Давай, дэвчонка... Нэ, пугайся. Я мирный,—сказал Ибрагим.

— Чего мне тебя, плешастого, пугаться-то?—огрызнулась Таня,—я с тятенькой на ведмедя хаживала.—Потом улыбочво сказала:—Вставай, молодец... чего дрыхнешь! А на гулянку к нам придешь?

— Приду,—Проход сбросил с себя бурку и стал одеваться.

Девушка услужливо подавала ему шаровары, сапоги, полотняную блузу и все дивилась на его белье:

— Богач какой ты, а? Ишь ты, буковки... Кто вышивал-то? Поди, краля? И чего она, дуреха... на подштанниках вышила, а рубаху не расшила. Поди, она богачка?.. Поди, один сахар ест да пряники... А часто с ней целуешься?..—юлила Таня, стрекотала, и Проход никак не мог от волнения застегнуть пуговку на вороте. А Таня так и надвигалась полной грудью, виляла лукавыми, дразнящими глазами.

— Цх! Ишь—язва!—прищелкнул пальцами Ибрагим.—Дэржи ее!..

Девушка с звонким смехом опять бросилась вон.

Ибрагим взглянул на Прохора. Тот закинул руки, привстал на цыпочки, сладко потянулся и зарычал, как молодой зверь, поднявшийся из логова. Глаза его горели. Ибрагим покачал головой, сказал:

— Нэ надо, Прошка.

Но Проход ничего не понял. Простокваша была холодная, освежающая. Проход крепко дабривал ее сахаром, Таня удивлялась:

— До чего вы, богатые, сладко живете. Взял бы меня к себе, в стряпки хошь.

В глазах Тани была молодая страсть и настойчивая уверенность: «А я тебя поцелую... А ты мой...»,—говорили ее черные, жадные глаза.

Что-то непонятное, новое шевельнулось в Прохоре. Он сказал:

— Душно как...—и вышел на улицу.

Утро было солнечное. На лугу пылали желтые лютики. Проход осматрелся. Деревенка, куда прибыли они вчера с Ибрагимом, маленькая. Избенки ветхие, покосившиеся. Лишь дом Тани выглядел богато: четыре окна на улицу, занавески, герань, гладко струганная крыша, дверь с блоком в мелочную лавчонку, над воротами расписанный в синий цвет скворешник.

Проход спустился к берегу. Узенькая, тихая река дремала.

«Вот она какая Угрюм-река»,—разочарованно подумал юноша.—«И на реку-то не похожа».

Он сбросил с правого плеча бешмет и швырнул через реку камнем. Урча и воя, словно большой шмель, камень пулей пересек пространство и ударился в румяно-желтый под солнцем ствол сосны. Проход опустился к урезу воды, где мужики конопатили шитик.

— Что же река-то ваша какая маленькая? Камнем перебросишь.

Отец Тани, черный как грек, оторвался от работы и сказал:

— Силы не набрала... Она еще взывает. Вот уж к петровкам, когда все болота оттают в тайге. Поди, умучился дорогой-то?

Да, он устал вчера изрядно. Тридцать верст, отделяющие Почуйское от этой деревеньки, показались ему сотней. Грязь, крутые перевалы, валежник, тучи комаров.

— Вот погодите,—сказал хвастливо Прохор.—Через десять лет про-рою от вашей Угрюм-реки к Большому Потокан канал. Тогда в Почуйское будете на лодках плавать. А то и пароходы заведу.

— Нет, брат паря,—насмешливо возразил второй мужик,—еще у тебя кишка тонка, чтобы хребты прокапывать.

— Чего ты понимаешь, медведь! А я знаю.

— Знаешь ты дуду на льду.

— Осел!—заносчиво крикнул Прохор.

Мужик раскрыл рот, чтобы покрепче обложить мальчишку, но встретившись с его жесткими, гневными глазами, нагнулся к шитику и с сердцем затюкал кианкой по конопатке.

Тропинкой спускалась к воде Таня. Проходя мимо Прохора, она закинула обе руки на коромысло, лежавшее у нее на крыльцах, от этого грудь ее упруго выпучилась и дразняще колыхалась под голубой свободной кофтой.

— Пусти... Ишь ты, загородил дорогу-то,—толкнула она крутым бедром зазевавшегося Прохора и усмехнулась белыми, как фарфор, зубами.

У Прохора заалели щеки. А девушка, подобрав юбку, вошла в воду. Было мелко. Она взглянула на Прохора, подняла юбку выше и зачерпнула серебряной воды в ведро. Прохор, не отрываясь, смотрел на ее белые крепкие ноги и вдруг всю раздел ее глазами и обнял. Но тотчас же в смущении отвернулся и пошел к лодке: «выкупаться надо»,—подумал он.

Сел в корму и с силой взмахнул легким, как соломинка, веслом. Течение стало быстрее, мелькали кусты, тонули в водоворотах широкие листья кувшинок с распускавшимися бутонами. А вот и приплесок с мелким сыпучим песком. Прохор причалил и, быстро раздвинувшись, бухнулся в воду.

Июньская вода все-таки была прохладна. Дул крепкий ветерок, обрызгивал воду серебристой рябью, гнал облака пищавших комаров в тайгу. Прохор фыркал, отдувался, гоготал, сплавал на ту сторону, нарвал фиалок и царских кудрей, расцветил букет огнями желтых лилий и поплыл обратно.

— Что за чорт? А где же белье?!

Лодка была пуста. Очевидно, смахнуло ветром. Он вскочил в лодку и проворно схватился за весло.

— Ау!—вдруг прозвучало из кустов.

— Эй, отдай! Это ты взяла? Татьяна, ты?!

— Иди, миленок, ко мне... Иди!..

Прохор, скорчившись и стыдливо прикрывшись рукой, сидел в лодке. Что ж ему делать?

— Иди... Ну, скорей... Красавчик мой.

Прохор еще не знал женщин, но чувство созревающего мужества ча-стенно беспокоило его. И вот теперь...

Сквозь шелестевшую листву голубело платье Тани, словно невидимая рука сыпала сверху незабудки.

— Отдашь или нет?! Я озяб.

В ответ—задорный смех. В Прохоре закипало раздраженье. Он бросил колючее слово.

— Ушла. Ну, тебя! Подурчиться нельзя...—обидчиво крикнула Таня, и кусты зашуршали, как от удалявшейся лодки камыши.

Проخور, все так же прикрываясь и вздрагивая от свежего ветра, побежал к одежде. Его стройное тело, еще не обсохшее от воды, белело на солнце, как весенний снег. Ветер мешал надеть рубаху, трепал рукава, озорничал. Проخور запутался головой в одежде и вдруг... его ноги кто-то обхватил и жарко прижался к ним.

— Нахалка! Ну, и нахалка!—весь сжавшись от стыда, с гневом оттолкнул он Таню и, не владея собой, ударил ее.

Девушка вздрогнула, но еще крепче прижалась к его ногам, запрокинула голову и умоляюще глядела в его лицо, безмолвная.

Проخور тяжело рванулся прочь, бросился на землю и стал, ругаясь, одеваться. Голос его осекся, сделался слабым:

— Ну, и девки у вас... А! Первый раз видишь и лезешь.

А та привалилась к нему, вся дрожала:

— Все одно не уйдешь... Во сне тебя видела... Ишь, сердце-то как тукочет... Пощупай-ка, нет, ты пощупай,—шептала Таня. Она тряслась и порывисто влекла к своей груди руку юноши.

Возвращались они в лодке по густым розовым волнам. Страшная влекущая к себе глубь внизу, русалки хохотали в глубинных омутах и кругом пахло разомлевыми под зноем цветами. Глаза Тани были закрыты, она улыбалась, обнажив свои белые ровные зубы.

Прошла неделя. Шитик был налажен. Заготовленные в путь сухари высушены великолепно: звенели, как стекло. Можно бы отправляться в путь, но Проخور медлил.

— Вода еще не пришла,—говорил он.

— Знаем мы эта вода. Нэ надо, Прошка... Рано дэвкам любишь, больно молодой,—журил его Ибрагим, сидя под окном и натачивал об оселок кинжал.

Вот на Кавказе у них, другое дело: там солнце, как адов глаз, горячее, там в январе миндаль цветет, и люди созревают быстро. Нет, нехорошо Прошка поступает. Не за тем посылали его мать, отец в неведомую сторону. Кто в ответе будет, ежели с ребенком грех случится?—Он, Ибрагим. Кто клятву дал, что ребенок будет цел? Кто?..

— Я не ребенок!—крикнул Проخور.—Запомни это.—Он крупным шагом, стараясь громко стучать в пол подкованными сапогами, подошел к стене, сорвав с гвоздя бешмет и вышел на улицу.

Ибрагим, как был, согнувшись над кинжалом, так и остался, только прищелкнул языком и посмотрел вслед Прохору, словно старый орел на соколенка, впервые выпорхнувшего из гнезда.

Вечер был тихий. Солнце упало в тучи, вода в реке стала сизой, задумчивой, и кровь обнаженного обрыва потемнела. Вдали погромыхивало: наверное, к ночи гроза придет.

Чтоб прогнать во-своиаси докучливых комаров и мошек, молодежь замкнула себя в огненном кольце: кругом пылают—пышут в небо веселые костры, а в середине—лихая песня, пляс.

Шире, раздайтесь, братцы! Проخور в круг вошел. Громче, дружнее пойте песни, сегодня Проخور правит отвальную, а завтра... Эх, что там про завтра толковать: пой, кружись, рой землю каблуками!

Грянула звериным ревом песня:

— Я любила Феденьку
За походку реденьку.

Я любила Васеньку
За бумажку красненьку!

Проخور в шелковой, похрустывавшей рубаше, перехваченной по тонкой талии серебряным кавказским поясом—подарок Ибрагима—сложив на груди руки, отплясывал возле веселой Тани.

А плясовая разухабисто гремела, крепко прихлопывали в такт мозолистые ладони.

— Я любила Ванечку
За помады баночку.

Здоровые глотки парней и звонкие девьи голоса далеко разносят песню во все стороны, плывет песня над рекой, толкается в берега, в тайгу и, будоража пламенные гривы костров, улетает в высь к сизой, придвинувшейся вплотную туче.

— Я любила Мишеньку
За зелену вышивку.
Я любила Петеньку
За шелкову петельку.

Высоко подпрыгивает Проخور, ударяя каблук о каблук, крутится-крутится, не спуская с милого лица влюбленных жадных глаз. А Таня вся ослабла от какого-то сладкого томленья, тихо улыбается Прохору, лениво вымахивает в воздухе каемчатым платком.

— Целуй, Проخور, целуй!—раздалось от костра.

Проخور притянул к себе Таню, обнял, та жеманно подставила губы, не отталкивая его и не воспламеняясь:—игра, ведь, не взаправду... Но тут, словно бревном по голове, ударил Прохора злой, сиплый, как у пьяницы, голос, скандально заоравший:

— Целовала Прохора,
После три дня охала.
Купец в лодочке уплыл.
Таньку навек загубил.

— Ха-ха-ха!!—заржал, всколыхнулся воздух.

— Молчи, Оська!—с хохотом закричали парни.—Он тебя вздует... Он за черкесцем сходит.

Украдкой прискали язвительным смехом девушки.

У Прохора на голове зашевелилась шляпа. Он шагнул к кострам, где сидели парни:

— Это кто?—его голос был упруг и мужествен.—Ты?!

Перед ним, задрав вверх ноги и вытянув руки, словно обороняясь от неминуемой трепки, лежал на спине верзила-парень и тонким, щенячьим голосом притворно выкрикивал:

— Я... я это. Ей богу я... Таперя зашибет меня купец. Вот те Христос... Братцы! Заступись...

Огонь костров освещал его толстогубый, насмешливо кривившийся рот и прищуренные пьяные глаза. Медные глотки сотрясались смехом.

— Чорт!—ругнулся Проخور,—ты издеваться?!—Он ловкой хваткой сорвал с ноги верзилы заляпанный глиной сапожище и, размахнувшись, запустил им в верзилу. Тот хрюкнул, вскочил и грудью полез на Прохора:

— А, купчишка! Ты так-то?..

— Уйди!

— Ты наших девок забижать?! Братцы, катай его!

Тут врзались между ними парни, а девки подняли невероятный визг.

— Прошенька, голубчик,—всхлипывала Таня, увлекая за собою Прохора.

— Мотька! Ты сдурел?..—крепко держали верзилу парни и шипели, будто гуси:—Вот подвыпьем ужю... Тогда... Без девок чтобы, без огласки...— И к Прохору:—Приятель, где ты? Прохор Петров! Он же ненароком, он так... Ну, давайте мировую.

— Я же ненароком...—пошатываясь, прогудел верзила.—Я это так...

В бане огонек, но скудный свет его не проникал на волю: единственное оконце заткнуто старыми хозяйскими штанами.

Партий загал в баню дождь с грозой. Сидели на полу, плечо в плечо, возле четвертной бутылки, тянули водку из банного ковша. Тесные стены и низкий потолок покрыты сажей, пахло гарью, мылом, потом, и все это сдобривалось какой-то кислой вонью, словно от пареной капусты. Пили молча, торопливо, громко чавкали крутопосоленный с луком хлеб.

Но молчание прервал верзила, он налил в ковш вина.

— С предбудущим отвалом тебя, Прохор Петров!..—И не успел выплеснуть вино в широкий рот, как грянул неимоверной силы громовой удар: все подпрыгнули, хватаясь друг за друга, всем показалось, что баня провалилась в тартар.

— Вот так вдарило!..—кто-то сказал.

Беседа не клеилась: не о чем было говорить, всех связала одна мысль, и эта мысль черна, как стены бани. Впрочем, водка брала свое: молчанка сменилась шопотом, а там и загрозили:

Но в эту минуту Прохор плохо слышал. Прохор был в своей мечте, сладостной, влекущей. Все бурливей становится река, шитик мчится быстро, Прохор в веслах. Таня на корме. Солнце, легкий ветер, паруса. А по берегам цветы, цветы. И не цветы, червонцы, золото. «Таня, золото!».

— «Да, Прошенька, золото».—«Таня, мы будем жить с тобой в хрустальном дворце».—«Да, Прошенька, да». А вот и вечер, ночь. Тихо малиновка поет, тихо волна голубая плещет, шепчутся на рябине листья. И течет горячая по жилам кровь, и в одно сливаются влажные губы:—«Таня, милая моя».—«Ой, Прошенька!».

Ой, Прошка!—Это там, в избе.

Сквозь зыбучий мрак непогожей ночи, сквозь вспышки молний, хлопая по грязи, падая, мчался вдоль деревни Ибрагим. Торопливая дробь дождя и глухие раскаты грома не могли заглушить ни лая собак, ни отчаянных криков и ругани там, у речки, возле бани. Вот хрустнула с крепким треском выломленная из частокола жердь и загремел высокий знакомый голос.

«Прошка это воюет»,—с удовлетворением подумал Ибрагим, ускорив бег. Он наткнулся во тьме на изгородь, на избы, на стоявшие среди дороги сосны, вот утрафил в нужный переулочек и, шурша обсыпавшимися камнями, стал карабкаться по откосу вниз.

Он чутко слышал, как свистала в воздухе дубина, как пьяно орали и кричали парни, вот дубина щелкнула, словно по горшку, кто-то крикнул—«Ой, ты!» и крепко заругался.

«Прошка».

Тьма озарилась медлительным отблеском молнии. Перед Ибрагимом всплыла из мрака живая куча тел. Вниз лицом валялся Прохор, кулаки парней смачно молотили его по чем попало.

Ибрагим остановился, улыбка скользнула по его лицу.

— Ничего... Пускай... Пырвычка будет!..—Но вдруг его ноздри с шумом выбросили воздух:—Геть, геть!..—и звонкая сталь у бедра звякнула по-строному:—Кынжал нэ видиш?! Смерти хочеш? Цх!! Режь!!

Как овцы от кнута, парни молча прочь, пьяные ноги не знали, куда бежать, и взмокшие спины в страхе чувствовали по рукоять вонзавшийся меж ребер черкесский нож. Парни падали, хрипели, ползли умирать в кусты, сталкиваясь друг с другом лбами. Один бросился в реку, но и там мстящий клинок настиг его: парень завизжал, как поросенок, и забулькал в воде.

А черкес меж тем стоял на месте, добродушно удивляясь трусости гуляк. Потом шагнул к растерявшемуся Прохору, ошупью сгреб его за шиворот, высоко приподнял, как ягненка, и встряхнул:

— Будэш дэвкам бегать?! Будэш водку жрать?!

Прохор шипел, плевался.

— Геть!—крикнул Ибрагим и швырнул его на землю.—Марш домой!!

Прохор внезапно протрезвел и в миг проникся к Ибрагиму уважительным страхом, себя же почувствовал маленьким, несчастным. Он всхлипнул, словно наказанный ребенок и, виновато с'ежившись, поплелся домой.

За ним угрюмо, важно шагал черкес. Ему хотелось приласкать Прохора, заглянуть в его глаза, сказать теплое, ободряющее слово:

— Другой раз ребра ломать будэм! Щенка худой!..—визгливо крикнул он.

Прохор, пошатываясь, надбавил шаг.

Парни всю ночь до зари буйным табуном ходили по деревне, останавливались возле дома Татьяны, вызывали черкеса на честный кулачный бой.

Поутру Татьяна плакала горько, щеки ее горели от двух звонких пощечин, что влепил отец. Мать, пофыркивая, возилась у печки и растерянно сморкалась в фартук.

А черкес, засучив рукава, усердно скреб кинжалом вымазанные дегтем ворота, смывая с них девичий позор. Татьяна уткнулась лицом в подушку, плечи вздрагивали, катились слезы.

И еще нужно Татьяне плакать много, много. Прохор Петрович! Прошай.

VII.

КОЛДОВСКОЙ ШАМАНИЙ СКАЗ. ВДРУГ, ВНЕЗАПНО ВСКРИКНУВ, ОНИ КИНУЛИСЬ ПРОЧЬ. ПЕРВЫЕ ПОРОГИ.

Погода стояла мрачная, накрапывал дождь, и на душе у Прохора мрачно.

Деревня Подволочная, где жила Татьяна, далеко осталась позади. Шитик беззвучно скользил вперед, обгоняя дремотные речные струи. Поросшие лесом берега томили своим однообразием, и все кругом, под туманной сетью мелкого дождя, было серо и скучно.

На обгорелой лесине, изгибая шею, надсадисто каркала ворона, точно костью подавилась:—кх-кар, кх-кар. Две сороки стрекотали у самой реки, на окатном камне, блестящем от дождя.

Угрюм-река наводила на Прохора тоску. Шитик тянуло вперед, а мысли юноши возвращались все к ней, к Татьяне, и никак он не мог направить их в деловое русло.

— Будет, побаловался... надо и за работу,—говорил он сам себе, как искусившийся в жизни человек, деловито вынимал книжечку, зарисовывал повороты реки, всякий раз точно отмечая время.

— Эй, Фарков! А как называется этот ручеек?

Константин Фарков, чернобородый мужик лет пятидесяти, длиннорукый, жилистый, скуластый сидел в лопашных вестлах. Он нанялся поводомрем—

в роде лоцмана—он поведет шитик до Ербохомохла, до последнего жилого места на Угрюм-реке.

Фарков утер рукавом серого азяма вспотевший лоб.

— Это не ручеек, а старница, протока. Вот уж она версты через три широко выйдет.

Проخور отметил в книжке. А на полях написал: «Таня, Таня... Я тебя люблю», потом перевернул страницу и стал рисовать по воспоминанию милое лицо, за лицом явилась шея, нагая грудь. Проخور сладко вздохнул, покоился на сидевшем в корме Ибрагима и густо зачеркнул рисунок.

— А вот тут Антипово плесо зачинается,—раздался крепкий лесной голос Константина. Он стал рассказывать плавно, мерно, он много знает забавных случаев, любопытных историй в этой дикой таежной стороне.—А с Антиповым плесом дело было так. Значит, стояло зимовье—вот уж мимо плывем—в зимнее время туда ямщики завертывают греться да чайку попить. И жил там старик Антип, а недалеко от зимовья была похоронена тунгуска, раскрасавица девка, шаманством занималась, волховством. Вот она вставала по ночам из своей могилы и пошаливала по тайге, очень всех пугала...

Проخور весь душой и телом тут, на шитике, но вот внезапно очутился там, у Тани и вновь пережил недавнюю, гнетущую разлуку с ней. Надолго ли? Может, навсегда.

— А морозище плящий был: плюнешь—слона камнем падает. А он,—привечный ему спокой,—в одних портках да рубаше. Так навовсе и замерз.

— Кто это?—очнулся Проخور, губы его дрожали, щекотало в горле.

— Как кто?... Антип... Нешто не слышал сказ-то мой?

Глаза Прохора все еще далекие, затуманенные, но все-таки он овладел собой:

— Расскажи. Мне интересно.

— Вот я и говорю,—начал Фарков недовольным голосом.—Она эта самая колдовка-то, шаманка-то, раз середь ночи к Антипу и об'явись возьми. Да как крикнет: «Ей, вставай, Антип!.. Я мертвая к тебе пришла, гулять пришла, плясать пришла!..». А сама ударила ладонь в ладонь, подбоченилась—в красном во всем, в бисере—да как пошла трепака откалывать, только ви-хорь засвистал по зимовью. Тут наш Антип заорал с перепугу благим матом: «Сгинь, нечистая сила, сгинь!» да в одном белишке, босый по морозу-то—дуй не стой! Дак, веришь ли, пятнадцать верст без передыху отмахал, а тут торнулся, значит, в сутроб носом и застыл... Белый весь лежит, белей снегу белого, и глаза белые, остеклели, как у судака... Вот, брат.

— Удивительная вещь,—Проخور с любопытством поглядел на Фаркова и стал записывать.

— Врешь складно,—крикнул Ибрагим.—По башке веслом тебя! Нэ ври!

В середине шитика сделана крыша из брезента, натянутого на дугообразные упруги. Поэтому, чтоб лучше разглядеть сидевшего в корме Ибрагима, Фарков вытянул шею, бросил весло, сказал:

— Как это вру?

И Проخور тоже:

— Ничего не врет.—Ему хотелось досадить Ибрагиму за вчерашнее, и в Фарковсе он почувствовал своего союзника.

Углы рта Ибрагима с подрубленными черными усами, с окладистой черной бородой подтянулись к ушам. Ибрагим ядовито ухмыльнулся:

— А ты видал, кто к Антыпу приходил?.. Может, баран приходил! И какой слово говорил, ты слышал? Может, мертвый старик тебе толковал?

Проخور было ошетинился, но вдруг захохотал:

— А и верно, ведь.

Фарков в недоумении помигал, засопел и лениво взялся за весла.

— Такой слых в народе... Я почему знаю...—растерянно сказал он, и усталился в булькающую под веслами воду.

Небо прояснялось. Луч заходящего солнца прорезал облака. Все кругом сделалось приветливо и нежно, словно улыбка девушки, только что переставшей плакать. На душе у Прохора тоже стало хорошо. Его подзуживало дружелюбно пошутить над провравшимся Фарковым, но тот был мрачен, все так же смотрел в воду и сердито бухал веслами. Весь вечер плыли в молчаньи, и, когда река под сгустившимся сумраком сделалась обманчива, Фарков скомандовал:

— Вороти к берегу! Круче, круче!

Упругим поворотом шитик стал резать воду, и дно его зашуршало по прибрежному песку.

Разложили костер, сварили чай и двух застреленных в дороге уток. Фарков все еще мрачен, молчалив. Нет, он не врал, он все-таки оправдывается, докажет,—так говорили его чуть раскосые черные глаза.

Стемнело. Река, тайга и небо слились в одно. Но вот взошел месяц, и картина сразу изменилась: на противоположном берегу обозначились—темная щетина леса, песчаный откос и торчавшие в реке коряги, возле которых тихо плескалась вода, играя голубоватым серебром под лучами месяца.

— Сорок верст здесь будет,—проговорил Фарков.—Эвот и зимовье Антипово,—и указал рукой за реку.—Видишь, месяц в стекла бьет. И шаманка там схоронена.

Прохора взяла легкая оторопь, но он с молодым задором сказал:

— Айда туда!.. Посмотрим...

— Айда.

И быстро переплыли реку.

Когда подошли к зимовью, у Прохора заколотилось сердце. Фарков отбросил кол, припиравший снаружи дверь, и оба они набожно перекрестившись, шагнули в избу. Кромешная тьма была, должно быть, месяц скрылся в облаках.

— Что это?—прошептал Прохор.

— Где?

Ему показалось: светятся во тьме два горящих угля, как пара волчьих глаз. Вот всколыхнулся воздух, что-то мягко прошумело, угли погасли, но через мгновенье вновь загорелись в другом месте. Прохор поймался за руку мужика.

— Ничего... Это я знаю кто... Это филин,—сказал Фарков спокойно, зажег огарок и направился в угол, где светились глаза. Но там ничего не оказалось, кроме черной закоптевшей иконы.

— Оказия,—протянул он, осматривая все углы, это она, стало быть...

— Кто?

— Ну, кто, кто... Не понимаешь, что ли?

Прохор не заметил, что голос Фаркова борется со страхом, и весело сказал:

— Интересно...

Фарков с удивлением посмотрел на него и, пристыдившись, успокоился.

— Вот плешастый-то твой не верит, а между прочим, после Антипа здесь жил солдат из деревни Оськиной. Поплывем мимо, можешь справиться. Ему тоже видимость была, вот в это самое оконце колдовка-то к нему лезила,—Фарков поднял над головой огарок.—Видишь?

В верхнем венце под самым потолком—дыра.

— Вот шаманка и летала кажину божью ночь к солдату, а тот выпить не дурак, да в пьяном положении с тунгуской-то и снюхался. Да как и не слобиться. Уж очень собой-то пригожа была, не девка—сахар. Сильно солдат одобрял ее. Ведь солдат-то думал, что она живая, а на поверку-то вышло—мертвая, самая настоящая покойница. Вот как. В последнюю-то ночь к себе сманивала солдата-то: «ляжем, говорит, рядом в моем гробу, а то, говорит, мне зимой холодно. А черви, говорит, не едят меня, я не в земле лежу». Да, солдатешко-то тою ж ночью домой на кобыле прискакал. И хмель весь выскочил. А виски поседели. Вот до чего нарахался.

— А где же она похоронена?

— Вот пойдем, коль не боишься.

Проход с тревогой осмотрелся. Живая тьма сгущалась, напирала, хотела притушить огарок, как морской маяк волна. Чужие тени мягко шмыгали во тьме, падали, вставали, тянулись к Прохору. Вот словно бы ударили ладонь в ладонь и с тихим смехом кто-то пустился в пляс—ближе, ближе—кто-то голубой, трепещущий, холодный.

— Пойдем, Фарков!—в страхе метнулся Проход к двери.

— Ты чего? Это ж месяц.

В окно, как призрак, тянулся свет луны, тени приникли к полу, присмирели, и тьма стала неподвижной, выжидающей.

Шли густыми зарослями. Месяц освещал им путь. Пихтач, сосны и бярка цеплялись за Проходра, предостерегающе шумели, не пускали, с размаху хлестали по лицу.

— Ну, вот смотри,—сказал Фарков, кивнув вверх и закуривая трубку.

На двух врытых высоких столбах лежала колода. Она сверху прикрыта широкими кусками бересты. Береста голубела и, казалось, вздрагивала, словно лежавший под ней мертвец тяжело вздыхал.

— Это ветром...—одинаково подумали оба, но голубой, тихий воздух не колебался. Месяц привстал на цыпочки и никак не мог подняться над тайгой, только ревниво поводил серыми бровями: «Эй, вы! Полуношники!».

В щель колоды свисал плетью черный жгут.

— Это ее коса... Шаманки-то...

— Черная какая.

Голоса их казались чужими, словно звучали из-под корней тайги. Взглянули друг на друга: лица бледнозелены, как у мертвых. Проход ощутил в груди щемящий цепкий холодок.

Вдруг, внезапно вскрикнув, они кинулись прочь. Жуткий страх мчал их через тьму и непролазную трупобу, как белым днем по широкой степи.

Шитик bestолково резал воду, белые весла судорожно взмахивали, хлопали, словно окоченевшие руки утопающего. А вслед неслись из тайги свирепый свист. Но Проход, опаматовавшись, понял, наконец, что это из его собственной груди вылетает со свистом воздух. Он бросил весла и отер со лба холодный пот. Обоим было до смерти стыдно. Избегали смотреть друг другу в глаза и, не перемолвившись словом, оба повалились спать.

Сон Проходра беспокойный, горячий, огненный. Красное, красное—кровь. Земля красная, небо красное, красная тунгуска в кумачах, шаманка: «Бойе, друг, обними меня!.. Ну, крепче, крепче!». Кипучая, бесстыдная сорвала с себя все и кинулась ему на грудь. Истомно, жарко Проходру, сладостно. И слышит он голос укорчивый: «Прошенька»... Белое, белое—холодное. Белый снег, белое солнце, вся в белом Таня. «Прошенька, зачем ты?». И не Таня это,—мать. И не мать—отец. Крепко, настойчиво: «Вставай, Прошка... Время».

Проخور проснулся. Ибрагим трясет его за плечо и смотрит строгими глазами ласково.

Утро было погожее, ясное. Шитик шел медленно. Река текла с ленивой негой, словно еще не пробудилась от зеленых грез.

Стали попадаться взгорки. Вдали маячила обнаженная грудь скалы. Голосила ранняя кукушка, влюбленно крякали утки в камышах.

— Ты чего вчера испугался?—тихо спросил Проخور.

— А ты?

— Я, на тебя глядя, побежал.

— А я, паря, на тебя.

Оба улыбнулись и замолкли. Река круто повернула вправо, навстречу солнцу. Вода заблестела, как расплавленное серебро. Проخور зажмурился.

— Мне послышалось, будто колодина затрещала. С шаманкой-то... Как хрустнет!—сказал Фарков.

Проخور, шурясь, взглянул на него удивленно:

— А я слышал голос тунгуски: «Бойе, друг, обними меня!...». Ясно так, ясно.

— Врешь!—и лицо Фаркова вытянулось, глаза стали серьезными.—Точь-в-точь, как тому солдатишке... Точь-в-точь.—Он крадучись, перекрестился.

— Ты что? Может, лешатика видишь?! Мордам крестишь?!—крикнул Ибрагим.

— Нет,—ответил Фарков.—Сегодня година моей бабушке...

Проخور задумался. Сон и волшебная явь встревожили его. Где-то вдали всхлипывала, грустила иволга. Проخور вздохнул.

— Нэ надо голова вешать! Надо прамо!—бодро проговорил Ибрагим.

— А вот скоро работа будет... Не заскучаешь,—сказал Фарков...—Чу, как шумит... Это называется Ереминский порог.

Действительно, лишь повернули прочь от солнца, послышался шум, как отдаленный мощный шелест леса. Течение становилось все слабее и слабее, а шум порога возрастал и, после нескольких изгибней реки, быстрая волна вдруг подхватила шитик.

— Правей!—кричал Фарков, его голос сливался с шумом.—Нешто не видишь?!

Ибрагим со всех сил навалился на весло и стиснул зубы, а шитик, застряв на камне носом, стал поперек реки и накренился. Фарков соскочил в воду. Вода не доходила до колен. Фарков взял наметку и, борясь с течением, пошагал от берега к берегу, измеряя глубину. Он что-то прокричал, махнул рукой, опять прокричал, но говор воды дробил и путал звуки.

— Нет ходу,—сказал он, приблизившись.—Скидывай, Ибрагим, штаны... Давай глубь искать.

Пошли оба шупать воду, а Проخور стал зачерчивать в книжку положение порога. Но лишь он отвлекался от работы, как в его воображении вставал печальный образ Тани, а в душе вновь оживало чувство тоски и одиночества. Почему Ибрагим таким зверем заорал на него, когда Проخور хотел взять с собою Танию? Осел. Как он смеет!

Но вот, словно одуванчик под порывом вихря, развеялся образ Тани и, вместо грустного, в слезах лица, задорная улыбка, бисер, колдовские кумачи: «Бойе, друг!...». Проخور раздражительно отмахивается и долго, с любопыт-

ством смотрит в воду: струи быстро мчат под ним, извиваясь меж камней. У него рябит в глазах. Он переводит взгляд на берег, и все, что видит перед собою, все движется, плывет, плывет: кусты боярки и калины, зеленый луг, тихая тайга—все подхвачено обманчивым потоком и—что за чорт!—опять тунгуска в красных кумачах извивно крутится в удалом танце, манит Прохора к себе и исчезает в зарослях вновь остановившегося леса. Прохор хмуро улыбается:—«Чертовка. Ну, погоди, я тебя поймаю, да не мертвую, а живую сграбастую! Тогда»...—взбаламученная кровь бьет в мозг, солнце насыщает тело трепетным волнением, хочется любить, хочется перецеловать всех девок.

— Эге-е-й! Прощка! Сюда...

Прохор, вмиг переключив мысли, проворно сбрасывает с себя одежду, обувается в сапоги, чтобы удобнее было итти по каменистому дну, и сходит в воду. Стрежень бьлит его с ног, он падает на четвереньки,—ух!—подымается, вновь падает, хохочет. Камни круглы, скользки, как голова тюленя, вода бурлит. Прохор неуклюже взмахивает руками и, словно неопытный канатоходец, ловит моменты равновесия. Фарков то и дело выскакивал на берег, ломал ветки ивняка и втыкал их меж камней порога, обозначая будущий путь шитика. Сажнях в ста от Прохора лежали две воды: шумно бурлящая, рябая и дальше—тихая, застеклелая, вся в солнечном пожаре. Грань этих вод—предел порога. Ибрагим ворочал в воде камни. Прохору показалось издали, что все коренастое тело черкеса, в особенности руки и спина, испещрено темными полосами. «Татуировка»..—подумал он, но, когда подошел к черкесу вплотную, удивился:

— Вот так тело у тебя, Ибрагим... Как у борца... Должно быть, силенка есть.

— Мало-мало есть,—Ибрагим нагнулся и поднял над головой круглый, в несколько пудов камнице; выпуклые, резко очерченные мускулы под смуглой кожей заиграли, напряглись и, словно вылепленные из глины, вдруг застыли, настороженно карауля волю господина.

— Цх!..—и камень, опоясав воздух черной дугой, далеко бухнул в воду, вздымая ввысь искрометный раскидистый фонтан.

— Урра..—закричал от восторга Прохор.

— Чего орешь, работай!

Прохор принялся за дело. С юношеским жаром ворочал камни, прокладывая путь.

— Карягу видишь? Вали на нее... Прямо! Саженев через десять будет глыбь.

Работа кипела. Фарков был уже на шитике и выводил его на стрежень. Обратно Прохор шагал рядом с Ибрагимом

— Заколел, Прощка, замерз? Надо спирт проглотить...

Уловив в голосе Ибрагима ласку, Прохор сказал:

— Ты на меня не злился. Я тебя люблю.

— Мы тоже любим... Ничего, ничего, молодца, Прощка... Джигит!..

— С тобой, Ибрагим, не страшно... Ты сильный.

— Кынжал сильный... Ибрагишка верный, верней собаки... Знай!..

Сели, усталые, продрогшие. Шитик летел по порогу уверенно, ошибая носом расставленные вехи.

— Слава тебе господи,—облегченно сказал Фарков,—одно дерьмо прошли.

— А дальше?

— Горя хватим много. Ух, много, братцы! Угрюм-река, она свирепая

VIII.

ИЛЬЯ СОХАТЫХ СТАВИТ СЕБЕ ЖИЗНЕННУЮ ЦЕЛЬ.
ЗЛОДЕЙКА ЗАПАДНЯ.

Петр Данилыч Громов развернулся во-всю. Катил сквозь жизнь на тройке вскачь. Тройка—на лешевых подковах и куда мчалась она—Петра Данилыча не интересовало. По кочкам, по сугробам, в пропасть—все равно, лишь бы свистал в ушах веселый ветер, лишь бы хохотало и звенело в голове. В пристяжках—гулливые козлоногие бесенята из тайги, в кореннике—Анфиса.

Впрочем, занимался Петр Данилыч и делами по хозяйству. Расширил торговлю, красного товару привез на десяти возах и посадил в лавку доверенным своего приказчика Илью Сохатых. Открыл в тайге смолокурный завод и еще бросился в кой-какие предприятия. Но за всем этим досматривал он плохо, дело култыхалось через пень-колоду.

Марья Кирилловна завела большое молочное хозяйство и так захлопоталась, что некогда было и замечать ей шашни своего мужа.

Тот политику свою сначала вел довольно тонко: уедет на охоту, а сам к Анфисе; соберется за артелью дровосеков досмотреть, а сам к Анфисе. Птицы, звери благодаренье небу шлют, дровосеки лодыря гоняют, доверенный, Илья Сохатый, шелковые полшалки, серебряные денежки нечаянно в карман сует. А хозяин из бутылки буль-буль-буль, да к своей Анфисе.

Илья Сохатый, рыжий, кудреватый, лицо белое, в густых веснушках, отчего малый издали кажется румяным, на самом же деле он тощ и хвор, но до женского полу падок. По селу он первый франт: всегда в воротничках, в манжетах, в ярких галстуках, набалдашник тросточки тоже не из скромных, портсигар снаружи совсем приличный, а откроешь крышку—там черт знает что, даже отец Ипат, увидавши, сплонул. Имел еще Илья Сохатых дюжины две зазорных карточек: парни на вечерках хватались за животики, а девушки поднимали благопристойный визг:—Ах, охальник! Тьфу, ты...—но глаза их горели шаловливо и льнули украдкой к запрещенному плоду.

Илья Сохатых любил крепко надушиться дешевыми духами и от него за три верты несло укропом с чесноком. Перстни, запонки, булавки играли фальшивым стеклянным цветом, часы и цепь накладного золота сияли. Вся эта «цивилизация»—он любил ушибить головы парней и девушек мудреным словом—была им усвоена в уездном городе, откуда добыл его Петр Данилыч Громов, прельстив порядочным окладом и вольготной жизнью.

Девки только им и бредили, а самые пригожие были на ножах друг с другом: каждой он клялся и божился, что любит лишь ее одну. Иным разом так далеко заходила девья пря, что саперницы, зарвавшись, при всем народе провирались про свои любовные улады:—со мной там-то, а со мной вот там-то,—а потом, придя в рассудок, горько плакали, кололи болтливые языки булавками, да уж не воротись.

Мужние жены—молодицы—также не уступали девкам и считали превеликой честью провести с ним ворованную ночь где-нибудь у тремучего ручья под духмяным кустом расцветающей черемухи.

Илья Сохатых принимал все ласки, как нечто должное и хотя отоцал, словно мартоский гуляка-кот, но амурные успехи он относил исключительно к своей неотразимой, по его мнению, наружности. И в конце-концов так возгордился, что дерзнул благодетельствовать своей пленительной любовью и Анфису.

Он приступил к этому с сердечным трепетом и нервной дрожью, как боевой, видавший виды конь. Анфиса казалась ему неприступной, гордой. Да

и хозяин... О, хозяин сразу оторвет ему башку! Но Илья Сохатых весь проникнулся мужеством. Завладеть Анфисиним сердцем во что бы то ни стало— вот цель его жизни. Итак, смело в бой, к победе!

Подкрутив колечком усики, взбив кок в кудрях, Илья Сохатых направился тайным сумеречным вечером к двору Анфисы.

— Никто не видал?—спросила та, открывая дверь.—Ты стучи в калитку—раз-раз!—тогда буду знать, что ты... Понял? А хозяин где? Уехал?

Домишко у Анфисы маленький, плохой, но рядом рубился иждивением Петра Данилыча новый дом—скоро новоселье.

Анфиса накрывала стол, ставила самовар. Илья вытащил из кармана бутылку рябиновой и сверток саратовской сарпинки:

— Дозвольте прикинуть. Кажись, к лицу...

Анфиса стояла высокая, поджав алые губы, глаза ее полны холодной насмешки. Илья петушком плясал возле нее, и все норовил, примеряя отрез сарпинки, крепче прижаться к соблазнительной Анфисиной груди.

— Кажись, к лицу-с...

Та щелкнула его по блудливой руке, отстранила подарок:

— Не надо. Не нуждаюсь.

— Ах, Анфиса Петровна!.. Это даже огорчительно... Вас, наверное, по всем швам хозяин подарил.

— А тебе какое дело? Да и тебя мне не надо. Ну, на что ты мне?.. А, Илюша?

— Ну, как это можно. Женщина, можно сказать, во цвете лет... В поэтичном одиночестве. И все такое...

За чаем Илья врал, рассказывал анекдоты про монахов, Анфиса хохотала, отмахивалась, затыкала уши.

— Дурак ты какой!.. И за что тебя девки любят? А, Илюша? Рябой, курносый, чахоточный, чисто овечья смерть.

— А вот вы когда меня полюбите?—спросил он, нервно кусая губы.

— Никогда.

— Не правда ваша... Могу сейчас доказать-с...

Он подкрутил усы колечком, утер потное лицо надушенным шелковым платком, и глаза его из масляных стали умоляющими.

— Анфиса Петровна, ангел! Ну, один только поцелуйчик... в щечку. Анфиса Петровна!

Но та хохотала злобно.

— Это мучительство. Как вы не понимаете? Я усиленно страдаю...

— Дурак ты, вот и страдаешь,—лицо Анфисы вдруг стало холодным, ледяным, она словно студеной водой плеснула на распалившееся мужское сердце, и Илья, окутанный внезапным паром страсти, бросился к Анфисе и жадно схватил ее за талию.

— Голубочка! Пшеничка!.. Пощадите мой нервоз...

Вдруг в завешенное окошко кто-то постучал.

— Сам,—в один голос прошептали оба. Со страху у приказчика даже веснушки побелели. Он заметался.

— Полезей в подполье, да проворней. Убьет... Ну!..

Она прихлопнула за ним тяжелую западную в полу и поперхнулась шаловливым смехом. Стучали в калитку. Анфиса отперла.

В белой фуражке, высоких сапогах, поддевке вошел Петр Данилыч. Он оправил густые усы и бороду и врасос поцеловал Анфису.

— Больно! Ишь ты, медведь... куснул как...

— Страсть сладка, чертовка...

— А что это накурено? Гости были? А?

— Я сама.

— Сама? Давно ли куришь? На-ка, на, покури...

Она курнула и закашлялась:

— Крепкая очень.

— Крепкая?—Петр Данилыч засмеялся, снял фуражку.—А я сам-то нешто не крепкий? Эвота какой!.. Грудь-то, кулаки-то...

— Богатырь,—улыбнулась Анфиса. Густые, льняного цвета волосы ее закручены сзади тугим узлом, малиновые губы полуоткрыты.

Он поймал ее белые руки, притянул к себе. Она села к нему на колени. Под полом послышалась возня. Петр Данилыч насторожился.

— Это кот,—сказала Анфиса, засмеялась, словно серебро рассыпала.

Илья Сохатых замер. Будь проклято это низенькое подполье. Он сидел скорчившись на какой-то деревянной штучке между двух огромных кадок и вдруг почувствовал, что его новые брюки из серого трико в полоску начали сзади промокать. Он вскочил и резко ударился—чорт его возьми!—темом в потолок. Славу богу, кажется, не слышали, сошло. Тогда он освидетельствовал дрожащей рукой то, на чем сидел.

— Извольте радоваться... Грибы, рыжики!..—Он возмущенно засопел и сплюнул.

Он теперь стоял, согнувшись в три погибели, упираясь напомаженным затылком в покрытый плесенью половой настил и раздумывал, как-бы ему поудобней примоститься. Его ухо ловило глухой, сочившийся в щель говор. Раздался смех и поцелуй взасос, длительно и смачно. Илья отер губы, прошипел:

— Дьяволы... А?! Конфликт какой...

— Знаешь, кто у меня в подполе-то? Любовник...—сказала Анфиса и фальшиво рассмеялась.

— Любовник?!—сердито переспросил хозяин, и половицы заскрипели.

У Ильи Сохатых обессилели ноги, и он снова сел в грибы.

— Стой, куда!—крикнула Анфиса.—А ты и поверил? Эх, ты.

Илья Сохатых облегченно вздохнул, осенил себя крестом. Но в сердце его копилась такая буря, что даже холодный прибной рассол не мог умерить злых его чувств.

— А ведь я тебя не люблю, Петр.

— А кого ж ты любишь?

— Да никого. А впрочем... Сокола люблю. Молоденького такого, молоденького. Орленка. Ха-ха-ха... Что, испугался?

Петр Данилыч что-то невнятно пробурчал. Потом замолчали надолго. Золотая щель в полу померкла, видно, загасили свет.

«От ревности меня может паралич разбить»,—злбно подумал Илья, сердце колотилось в нем до боли. «Тоже называется купец... От собственного приказчика красотку отбивает... Эксплоататор, чорт...». Он пощупал карманы. Эх, спички остались там. А надо-бы переменить место, но он боялся пошевелинуться и терпеливо ждал. Накатывалась густая сизая дрема.

Вдруг Илья клюнул носом и очнулся. Тихо. Страшно захотелось есть. Он ощупал кадку. Капуста. Он ощупал другую:—очень просто, огурцы...—Вытащил ядерный огурец и с аппетитом с'ел.

— Свежепросольный,—тихонько сказал он вслух.

Повыше подобрал манжет и вновь запустил руку в кадушку. Огурец попался великолеппный. С'ел. Потом икнул.

— Эй, ты мученик! Да ты никак уснул?

— Ничего подобного!—перекосив рот и щурясь от света, крикнул Илья Сохатых и быстро покинул свою тюрьму.

— Да ты не ори, молодец!—голос Анфисы серьезен, но грудь тряслась ют сдерживаемого смеха.—Будешь фордыбачить, вышвырну.

С чувством большой досады и ревнивой горечи Илья проговорил:

— Вы мне большой убыток причинили. Новый жакетный костюм... На что он теперь похож? А?

Анфиса молчала.

— И вот, на основании вашего легкого поведения, я битых три часа в грибах сидел.

Анфиса ударила себя по бедрам, раскатилась неудержимым хохотом. На глазах Ильи мгновенно выступили слезы, он бросился к ней с сжатыми кулаками, но она сгребла его в охапку и, все еще продолжая хохотать, звонко поцеловала в потный лоб.

Илья забыл про все на свете.

— Анфисочка!.. Цветочек!..

— Стой, стой, стой!—она усадила его к столу.—Давай кутить.

Петр Данилыч жил по-русски, попросту: стол у него незатейливый, крестьянский: любил простоквашу, баранину, жирные с наваром щи. Одевался без форсу, просто; в запойное время пил до потери сознания исключительно водку. Человек без широкого размаха, он решительно не знал, куда ему тратить в этой глуши деньги. Пожертвовал в церковь, выстроил дом Анфисе, завел себе и ей обстановку, ковры, часы, узорчатые самовары. А дальше что? Эх, закатиться бы в Москву! Но крылья у него куриные, да и лета не те.

Все-таки за три-четыре месяца он успел проспиртоваться основательно: нос стал красный, лицо опухло, во сне пальцы на руках плясали, всего подергивало. А когда увидел двух мелких чертенят, сидевших, как два зайца, на шкафу, твердо решил в уме:

— Надо сделать перерыв.

Два дня отпивался квасом, ел капусту и на третий уехал верст за пятьдесят в тайгу. Даже с Анфисой не простился.

IX.

ПАРАДОКСЫ ЖИЗНИ. ТРУД И КАПИТАЛ. ЗВОНКАЯ ПОЩЕЧИНА И КРЕПКИЙ СОН.

Средина лета. Путники загорели, как арабы. У Прохора три раза слезала с носу кожа.

Плыть весело, и погода стояла на диво. Вставали с зарей. Пока Прохор купался, Ибрагим жарил шашлык. Фарков возился с ведерным чайником. Подкрепившись, бодрые, пускались в дорогу и уж в пути их встречал солнечный восход.

Вторую неделю весь воздух был насыщен дымом: где-то горела тайга. Солнце стояло большое, кровавое, как до-красна накаленный медный шар. Резкие тона и очертания в ландшафте сгладились, расстояние стало обманчивым, неверным: близкое сделалось далеким, далекое приблизилось вплотную. Воздух был неподвижен. Сквозь молочно-голубую дымку мутно голубело все кругом: лес, скалы, острова,—все тускло, призрачно.

— Ибрагим, как все-таки хорошо... А?

— Вдыху нет. Глаза ест... Худо, Прошка!

Ибрагим сидел теперь в гребях, Фарков на руле: река все еще мелка, а ходовая бороздка извилиста, лукава. Вот глубокое плесо. Фарков говорит:

— Прохор Петрович, у вас есть нажива? Надо к обеду рыбы наловить.

Прохор подает ему коробочку, наполненную слепнями, и прихлопывает у себя на колене еще двух слепней.

— Чорт, сколько их.

У Фаркова пара удочек. Один за другим беспрерывно шлепаются в лодку серебряные караси.—Жирнующие,—радуется Фарков и чрез пять минут заявляет:—Ну, теперича довольню.

Прохор привык к щедрым дарам Угрюм-реки и не удивляется. Он глядит на часы—время обедать. Присматривает удобное место и командует:

— Фарков, к берегу!

— Подале бы, Прохор Петрович,—слабо возражает тот,—деревня скоро.

Прохор чувствует, что дал маху: конечно, в деревне остановиться на отдых лучше: яйца, молоко, ватрушки, но раз сказал—сказал.

— Ты слышал?

Фарков ослушаться не смеет.

Уха очень жирная, каша крутая, с маслом, сухарей изобилие и чай пьют до седьмого пота. Ибрагим среди обеда расстегивает на штанах все пуговики, сбрасывает подтяжки и самодовольно рыгает.

— Что, Ибрагим, наелся?

— Нэт.

Глаза его горят, как у волка, потом затуманиваются, круглая ложка проворно шмыгает из котла да в рот, наконец, он еще громче рыгает и, опьянев ют еды, ползет на карачках куда-нибудь в тень всхрапнуть.

Прохору и Фаркову спать не хочется. Фарков лежит на спине и рассказывает о Даниловской сопке, что миновали вчерашний день. В ней есть пещера, где в недавние времена жил огненный змей. Днем его нету, но лишь наступает вечерний час, словно польемем осияет небо—мчится змей. Много крещеных он украл, все больше молодых баб да девок. Жил с ними, до смерти замучивал. О одна, сказывают, родила от него девку-шаманку, ту самую, что Антипа уморила.

— Неужто?

— Да уж я не стану врать. А вот на этом самом месте, где мы лежим с тобой, мужик бабе нос отгрыз. Сначала за косы трепал, а тут отгрыз и выплюнул... Не нарушай венца...

Вдруг вода заплескалась где-то близко и—гортанный крик:

— Тяни, тяни-и-и!

Хлюпают весла по воде, шуршит под ногами галька. Прохор пристально посмотрел в ту сторону: молочно-голубая сказочная мгла скрывала все. Но вот еще немного, и высунулось из дымного тумана почти рядом с Прохором какое-то мглистое чудовище, оно, как неясный призрак, медленно скользило по воде.

— Ну, черти! Тяни, тяни!

Большой шитик. Его тянут на лямках против течения пятеро, шестой маячит у руля, седьмой на носу с багром, он отталкивает судно от встречных камней и карч.

— Ну, черти, ну!.. Так твою в тартынку! Ну!

Пятеро заходят выше пояса в воду и, напрягая остатки сил, буровят грузный шитик.

— Давай, давай, давай!—залпом несется гнусавый окрик и крепкая оскорбительная брань.

— Это купчишка тутошний, торгаш, из армян. Уголовный он,—сказал Фарков.—Уж я его покличу. По шее бы ему накласть. Самый мазурик.

На шитике навалены горой лосиные, скупленные у тунгусов шкуры, на шкурах—три пуховые подушки, на подушках, как Будда в облаках,—важно восседал бороваобразный, весь заплывший салом человек. Над ним, бросая тень, колыхался балдахин большой белый зонт:

— Чего встали? Эй, ты, рыжий! Тяни, тяни!..

Веревки вот-вот лопнут, они глубоко впились в согнутые спины батраков. Изнывая от жары и напряжения, люди надсадно дышат, словно запаленные, больные кони.

— Аганес Агабабыч!—крикнул Фарков, приподымаясь.—Вот имечко-то чортово, язык сломаешь,—сказал он Прохору.—Политики его тянут, царские преступники. Аганес Агабабыч, слышь!..

— Кто такие?—отозвалась копна.

— Жители. Тут человек с тобой желает перемолвиться, купецкий сын.

— А-а-а,—протянул торговый и загнул:—Эй, вы! К берегу... Выбирай постромки, подтягивай бурундучную... К берегу, так вашу в гартынку!..

К Прохору подкатился на коротких ногах-бутылках шарообразный в два объёма человек, он пыхтел, сопел, обливался потом, мокрая его рубаха расстегнута, рукава засучены, грудь и руки в густой, как у медведя, шерсти.

— Здравсте вам,—он протянул Прохору пухлую ладонь-подушку. Откудова?—говор его не русский, гортанный.

Прохор назвал себя, с интересом рассматривая рыхлую копну на ножках, нескладно обмотанную сукном и ситцем. Торгаш сел по-турецки на землю, спросил:

— Что тебе здэсь надыть? Зачем едешь? Может, торговлю желаишь заводить?—Торгаш засопел, запыхтел, продул ноздри и, покачивая круглой бритой головой, гнусаво стал кричать:

— На-а-прасно! Здэсь пропадешь... Народ—сволочь, все норовит в долг без отдачи. Порадка нэт, управы нэт, чисто разор! Тунгусишки—зверье, орда, того гляди зарэжут... Ой, не советую. Ой-ой!..

— Чего зря врешь, Аганес Агабабыч,—не стерпел стоявший у костра Фарков,—у нас народ хороший. А ты ведь, как клещ, впился—ишь брюшину какую насосал..

— Что-что-что?—копна заработала пятками и грузно повернулась во круг своей оси к Фаркову.—Что? Клещ?

— А приплывем ли мы до заморозков в Крайск?—спросил Прохор с волнением.

Вновь заработали пятки и копна с великим сопеньем повернулась лицом к нему:

— Хо-хо! Нэт!.. Ты что? Поворачивай-ка назад скорей... Ты знаешь, сколько верстов? Три тыщи верстов отсюда. А река, о-го! Прамо смерть.

Прохор кивнул на сидевших в стороне рабочих и спросил:

— А это кто такие?

— Польтики... Смутьяни... Ссылка... Дрянь. Я их—во!..

— Почему дрянь?—вопросительно взглянул Прохор в его заплывшие, свинячьи глазки.

— А как! Против цара, против порадку, против капиталу? Пускай-ка они, сукины дети, на себе теперича меня повозят, пускай ляжку потрут... Ха-ха-ха... Я их—во!..—он вскинул мохнатый кулак и покачал им в воздухе.

— Да ты и весь народ рад—во!—сказал Фарков, горевший нетерпением сцепиться с ним.

— Что-что-что?—повернулась, крикнула копна.—Эй, рыжий! Подай-ка сюда книжку! Вот посмотрим... Я знаю тебя, голубчика... Ты, Фарков? Знаю... Ты мне больше сотни должен

— Не шипа я тебе не должен... Ты в десять раз дороже накладываешь против настоящего... Ты нас процентой задавил... Ты...

— Что-что-что?!.

Прохор направился к политическим. Как-то в городе он ходил со знакомым студентом на сходку молодежи. Там были и политики. С жаром, справедливо говорили, пели, ругали начальство, порядки. Да как хлестко, как правильно. Прохору очень тогда все понравилось, он о многом расспрашивал студента, который дал ему кой-какие книжечки, правда, очень непонятные и скучные. Прохор кое-как перечитал их и возвратил, ничего почти не запомнив.

— Здравствуйте!

Все посмотрели на его высокую красивую фигуру, на гордо поднятую голову с зоркими глазами. Прохор протянул им портсигар. Закурили.

— И охота вам этого чорта на себе тащить,—начал Прохор,—пристукнули бы его где-нибудь.

Все ласково улыбнулись, а тот, что в шляпе, сказал, вздохнув:

— Если начнешь пухнуть с голоду, на все согласишься. Чалдоны на работу не берут, да мы и не можем: тайгу корчевать, да новину распахивать где ж нам.

Прохор посмотрел на его бледное, в черной бороде лицо, на белые вспухшие от комариных укусов руки, к которым плохо приставал загар.

— Я, например, бухгалтер, а товарищ мой—фармацевт,—сказал другой, тщедушный, маленький,—а вот этот человек—юрист, известное дело, мы к мужичьему труду не приспособлены. А вам сколько лет, товарищ?

— Двадцать,—соврал Прохор, и все поверили ему.—Я тоже купец,—сказал он.—Может быть, сюда приеду работать... Но я дело иначе поведу.

Тот, что в шляпе, безнадежно махнул рукой, но все-таки полюбопытствовал:

— А как же?

— Прежде всего этого бегемота и всех мерзавцев, что грабят мужиков, в омуте утоплю... А потом...

В это время у костра страшно заорали:

— Жулик!!

— Нет, ты жулик!.. Вот кто!

Фарков стоял прямой, как столб, длинные его руки покачивались. Возле него подпрыгивал запыхавшийся толстяк и тыкал в его лицо раскрытой книжкой:

— Вот запись! На-на! В тюрьма!.. На поселенье!..

— Тьфу, твоя запись!—свирепо плюнул Фарков на книжку.

Толстяк, припрыгнув, ударил Фаркова в подбородок, тот с размаху ткнул кулаком в тугое брюхо. Толстяк отпрыгнул, пригнул голову и, быстро крутя кулаками, двинулся, как вервь, к противнику. Тот грохнул кулаком по жирной спине, как по тесту, но тотчас же от хлесткого удара слетел с ног.

— Аг-а! Так твою в тартынку!!

Все слилось в ревущую неразбериху: вот меж ногами Фаркова хрипит и закатывает глаза налившаяся кровью голова армянина, вот сам Фарков, царапая скрюченными руками землю, юлит, как большой ящер, выползая из-под рухнувшей на него горы. Облаком взметнул песок, с хрустом шебаршит щебень, головни и горячие сучья, словно жар-птицы летят из костра куда попало.

— Довольно!!—во всю мочь вскричал Прохор и бросился их разнимать.

— Баста,—грузно поднялся толстяк, как свекла красный и стал вправлять в штаны выбившуюся разодранную рубаху.—Будешь?!

Фарков молча схватил весло и опоясал толстяка по широкому сидалищу. Звонкий, хлесткий, как пощечина, удар враз покрылся дружным ядренным хохотом. Армянин схватился за вспыхнувший от удара зад, плюнул в Фаркова и скомандовал:

— Эй вы, к шитику!—И прокричал с подушек, потрясая распушенным зонтом:—В острог, сукин сын, в острог!! Есть свидетели!

— Каторжанин!—грозил веслом Фарков,—сколько человек зарезал-то?!

Забурлила вода, захлопали натруженные ноги дальше, призрачней, и все потонуло в мутной синеве. Только слышалось:—Тяни-тяни!—и терпкая, как турецкий перец, ругань.

Проخور долго, грустно смотрел туда, где скрылся чертов призрак, потом подошел к потухшему костру. Фарков теплым чаем тщательно промывал подбитый в свалке глаз.

Вдруг в соседнем кусту зашевелилось—приподнялся Ибрагим и посмотрел на солнце.

— Никак проспали?

— Кто проспал-то?—засмеялся Проخور.—Тут целая война была... Неужто не слышал?

— Чего врешь,—мрачно отозвался черкес.—Какой война?

— Вот так дрых!—крикнул Фарков.—Вишь, даже глаз мне подбить могли... Война и есть. Ведь, тебя истоптали было. Кувыркались через тебя.

— Чего врешь!—Ибрагим насупил брови и сердито ворочал белками.—Мертвый я что ли?—Большая лысина его сияла.

Проخور с Фарковым закатились хохотом.

Ибрагим икнул и хмуро потянулся к чайнику.

(Продолжение следует)